This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

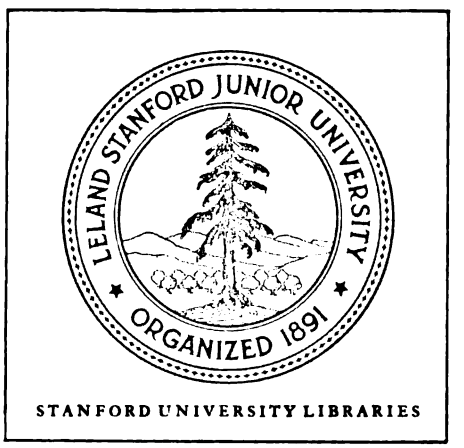
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

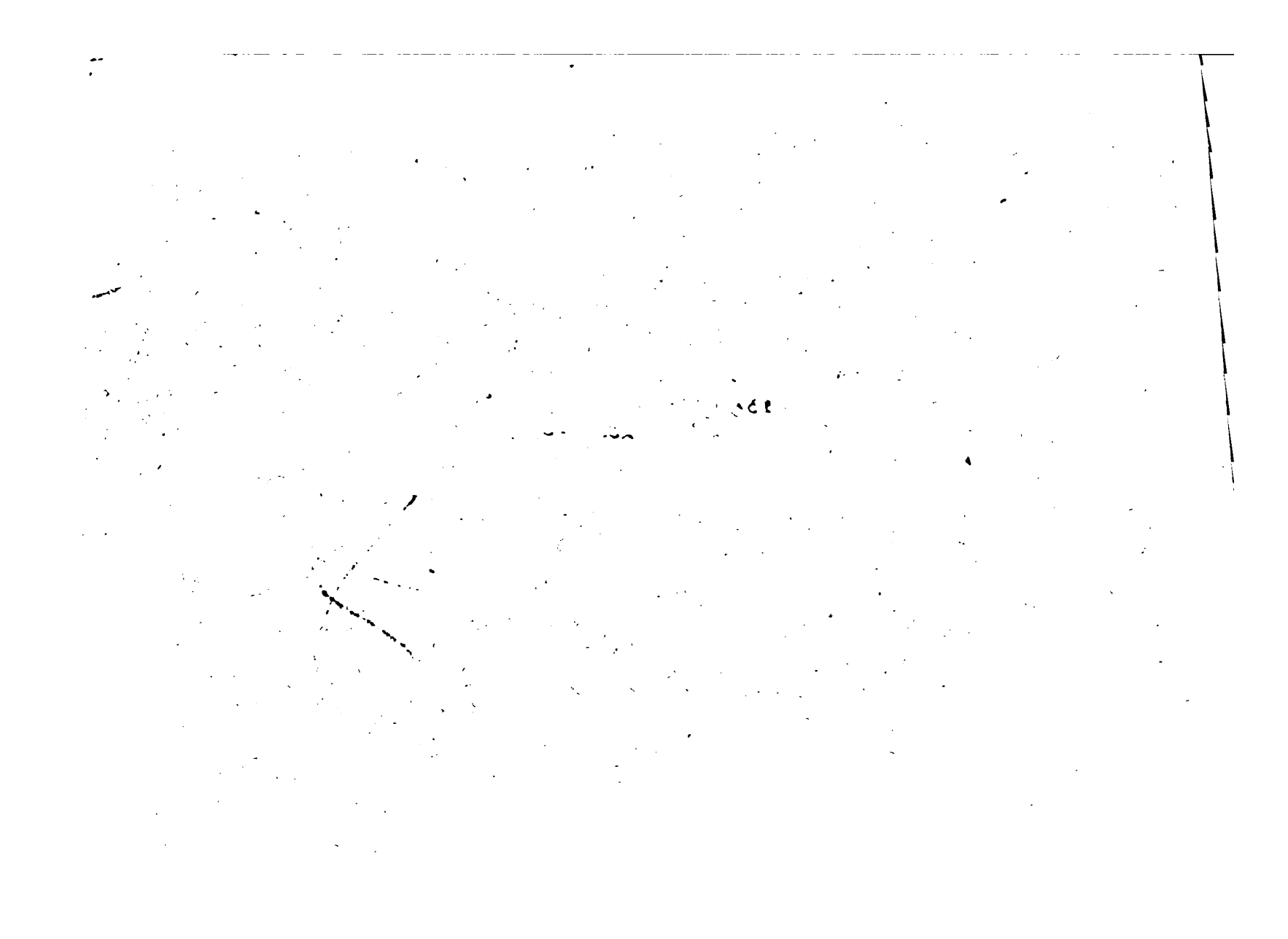
О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

PG
3361
S3Z86

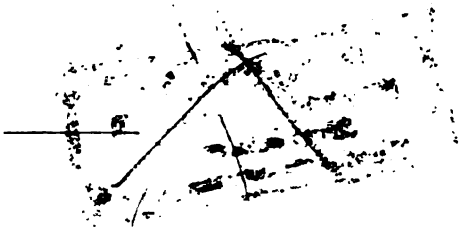
26.458.


LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES



п. 540
917

М. Е. САЛТЫКОВЪ

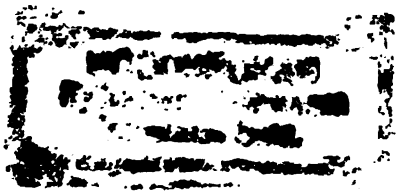


Идеализмъ Салтыкова. — Журнальная дѣятельность 1863—1864. — Библіографическая замѣтка.

А. Н. Пыпина

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 л., 28.
1899

Гос. Публичная б-ка



М. Е. САЛТЫКОВЪ

Нз Л600 П95
Нз Л600 С166п
Пыпин, А. N.

М. Е. САЛТЫКОВЪ

Идеализмъ Салтыкова. — Журнальная дѣятельность 1863—1864. — Библіографическая замѣтка.

А. Н. Пыпина

Нз Л6[illegible] С166

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 л., 28.
1899

PG3361
S3Z86

2791

Въ апрѣлѣ 1899 г. минуло десять лѣтъ съ кончины М. Е. Салтыкова.

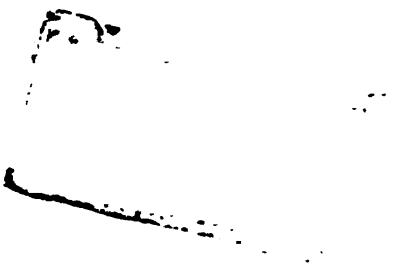
Настоящая книжка заключаетъ статьи, написанныя вскорѣ по его смерти. Въ одной говорилось противъ взгляда, не однажды тогда высказаннаго, по которому Салтыковъ былъ пессимистъ, безъ положительнаго идеала, игравшій безъ разбора своимъ желчнымъ остроуміемъ. Такой недружелюбный взглядъ можетъ вызвать всякая сильная сатира, раздражающая одну долю общества, и относительно Салтыкова несправедливость осужденія окажется при первомъ безпристрастномъ изученіи цѣлаго состава его произведеній. Къ личнымъ впечатлѣніямъ я могъ присоединить собственныя слова Салтыкова по вопросу, имѣвшему параллельное значеніе—объ его отношеніи къ „народу“. Слѣды упомянутаго враждебнаго отношенія къ Салтыкову или непониманія можно встрѣтить донынѣ, и можетъ быть не излишнимъ вернуться еще разъ къ

этому предмету. Въ связи съ этимъ общимъ вопросомъ объ идеалистической основѣ труда Салтыкова находится вторая статья, гдѣ я собралъ данныя о журнальной дѣятельности Салтыкова въ 1863—1864 г., въ изданіи, къ которому я былъ близокъ. Это были статьи по преимуществу, почти исключительно, публицистическія,—какія впослѣдствіи Салтыковъ писалъ рѣдко. Кромѣ немногихъ разсказовъ, вошедшихъ въ позднѣйшіе сборники, эти статьи не были помѣщены Салтыковымъ въ собраніи его сочиненій,—безъ сомнѣнія потому, что по его мнѣнію представляли публицистику, слишкомъ привязанную къ интересамъ только данной минуты;—но тѣмъ не менѣе онѣ чрезвычайно любопытны и по ихъ исторической цѣнности для пониманія общественныхъ настроеній въ эпоху реформъ, частію тогда совершившихся, частію ожидаемыхъ, и какъ свидѣтельства о литературномъ характерѣ Салтыкова. Его сатира высказывалась изображеніемъ бытовыхъ явленій и общественныхъ типовъ и, какъ извѣстно, часто прибѣгала къ „Езоповскому языку“—иносказанію, аллегоріи, даже къ фантастикѣ, такъ что читатели новыхъ поколѣній иногда уже затруднялись найти ключъ къ его намекамъ: здѣсь Салтыковъ—сколько было возможно—излагалъ въ прямой, положительной формѣ свои мысли, въ которыхъ между прочимъ открывались его литера-

турные и общественные идеалы. Въ дальнѣйшемъ изложеніи читатель найдетъ, какъ здѣсь выразилось живое общественное чувство и проницательность Салтыкова; его высокое понятіе о достоинствѣ литературы, о нравственномъ требованіи, лежащемъ на самóмъ художественномъ творчествѣ; серьезное отношеніе къ народу, исполненное уваженія къ его „мужеству“ въ борьбѣ съ тяжкими обстоятельствами его быта, отношеніе прямое, свободное отъ фантастическихъ преувеличеній, но проникнутое глубокимъ желаніемъ улучшеній его матеріальнаго быта и разумныхъ условій для развитія его силъ духовныхъ.

Надо желать, чтобы произведенія Салтыкова этихъ годовъ, скрытыя подъ псевдонимами или не подписанныя, были наконецъ включены въ собраніе его сочиненій.

Апрѣль, 1899.



ИДЕАЛИЗМЪ САЛТЫКОВА.

Историко-литературное воспоминаніе.

Въ первыя минуты великихъ утратъ является всегда усиленная потребность воспоминанія, желаніе еще разъ возсоздать передъ собой замѣчательную личность, которая такъ увлекала и поражала насъ своею дѣятельностью. Печать наполняется біографическими разсказами, анекдотическими чертами, рисующими личный характеръ, обзорами произведеній любимаго писателя,—и тѣмъ не менѣе бываетъ иногда очень трудно, даже невозможно удовлетворить этому законному интересу. Біографія вообще не есть дѣло первой минуты послѣ того, какъ только-что завершилась жизнь великаго дѣятеля, особливо писателя, и особливо — русскаго писателя. Біографія требуетъ простора, котораго не можетъ быть въ условіяхъ, еще не измѣнившихся съ той поры, когда писатель дѣйствовалъ,—не можетъ быть среди вражды, которая, начавшись съ его первыхъ опытовъ, не прекращалась до послѣднихъ дней его, уже славной, дѣятель-

ности. Въ печати были приведены, и довольно извѣстны, главныя черты внѣшней біографіи Салтыкова; явились разсказы, изображавшіе его какъ человѣка или по крайней мѣрѣ старавшіеся дать нѣкоторыя выдающіяся черты его личности; но безъ сомнѣнія это только слабые очерки и личнаго характера, и дѣятельности Салтыкова. Это былъ характеръ очень сложный, и требуется много объясненій историческихъ и психологическихъ, чтобы стали понятны его особенности; какъ потребуется много объясненій изъ нашей исторіи общественной, чтобы раскрылось все значеніе подъятаго имъ литературнаго подвига.

Салтыковъ потребуетъ изученія и, конечно, найдетъ его. Будущій біографъ соберетъ факты его внѣшней жизни, постарается раскрыть психологическія основы его дарованія и пути его развитія, нарисуетъ обстановку, укажетъ источники его послѣдующей литературной дѣятельности и т. д. Это—дѣло близкаго или неблизкаго будущаго; но теперь еще многимъ очень памятна его дѣятельность и онъ представляется еще какъ живой человѣкъ, и когда самое дѣло его завершено лишь незадолго до его кончины, насъ влечетъ другая задача: собрать свои впечатлѣнія о замѣчательномъ явленіи, совершавшемся передъ нами, выяснить себѣ, насколько возможно, его историческій и современный смыслъ, чтобы возсоздать передъ собой эту рѣдкую личность и должнымъ образомъ сознать значеніе его дѣла.

Литературная дѣятельность Салтыкова, постоянная, почти непрерывавшаяся, открылась съ 1856 года, но началась она гораздо раньше: первые разсказы явились въ 1847 и 1848 годахъ. Одинъ изъ нихъ („Противорѣчія“) онъ самъ предалъ забвенію; другой („Запутан-

ное дѣло") онъ послѣ повторилъ въ „Невинныхъ разсказахъ". Но еще раньше, съ 1841—1842 года, когда Салтыковъ былъ еще на школьной скамьѣ лицея, печатались его стихотворенія въ „Библіотекѣ для чтенія" и въ Плетневскомъ „Современникѣ". Это были, конечно, вполнѣ юношескія стихотворенія, но онѣ даютъ любопытное свидѣтельство того, какъ рано влекла его къ себѣ литература, интересы которой всегда для него были такъ дороги и мысль о которой не покидала его до послѣднихъ минутъ, пока онъ въ состояніи былъ держать въ рукахъ перо. Это было почти полъ-столѣтія любви къ родной литературѣ и неустаннаго труда на ея полѣ.

Что было результатомъ этого труда—очень извѣстно тому русскому читателю, въ существованіи котораго Салтыковъ сомнѣвался и который, однако, несомнѣнно существуетъ. Слишкомъ извѣстно, какъ со второй половины 50-хъ годовъ и до первыхъ мѣсяцевъ нынѣшняго года, когда онъ, предчувствуя смерть, поставилъ слово „конецъ" въ послѣдней главѣ „Пошехонской Старины",—извѣстно, какъ во все это время съ жаднымъ интересомъ читатель бросался въ журнальной книжкѣ на тѣ страницы, гдѣ былъ разсказъ Щедрина: этотъ разсказъ прочитывался прежде всего, переходилъ изъ рукъ въ руки, возбуждалъ оживленные толки. И дѣйствительно, чувствовалось всѣми, хотя далеко не всѣми сознавалось, что въ этихъ разсказахъ являлось передъ читателемъ нѣчто до тѣхъ поръ небывалое, развертывалась цѣлая громадная картина русской жизни, отъ ея верхнихъ и до низменныхъ слоевъ, картина, исполненная великимъ талантомъ, окрашенная гнѣвной сатирой, необычайнымъ остроуміемъ и изрѣдка прерванная грустнымъ лирическимъ мотивомъ.

Почитатели Салтыкова, чтобы охарактеризовать его значеніе, называли знаменитыя имена античной и новѣйшей сатиры,—Аристофана и Ювенала, Рабле́, Свифта; эти сравненія могутъ указать развѣ только размѣры явленія,—и, по нашему мнѣнію, указываютъ ихъ безъ преувеличенія,—но, какъ большинство подобныхъ сравненій, не даютъ ближайшаго указанія о характерѣ явленія. Слишкомъ различны вѣка, общества, нравы, самое положеніе литературы. Несходны, наконецъ, и личныя настроенія. Сатира Салтыкова достопримѣчательна прежде всего своимъ неистощимымъ богатствомъ, какъ неистощимо было богатство его всегдашней обыкновенной рѣчи, исполненной своеобразнаго мѣткаго остроумія, оригинальнаго, такъ сказать неожиданнаго языка. Сатира Салтыкова, это—не рядъ нѣсколькихъ стихотвореній; не одно, разъ созданное произведеніе; не сатира, переходящая въ чистую каррикатуру и необузданный гротескъ; это—рядъ картинъ, глубоко вѣрныхъ дѣйствительности, обставленныхъ живыми типами, несомнѣнными чертами нравовъ; это—правдивыя бытовыя изображенія, которыя становятся сатирой только потому, что писатель умѣлъ ярко выставить наружу скрывающіеся мотивы этой дѣйствительности и нравовъ, и въ этой наготѣ они отталкиваютъ зрителя своимъ часто постыднымъ безобразіемъ. Личное настроеніе Салтыкова не было однимъ порывомъ, послѣ котораго писатель чувствовалъ себя удовлетвореннымъ или утомленнымъ, а затѣмъ иногда совсѣмъ забывалъ свое негодованіе и свои укоры, если (какъ и это иной разъ бывало) не успокоивался на той же самой рутинѣ, какою жило обличаемое имъ прежде общество. Настроеніе, диктовавшее Салтыкову его произведенія, дли-

лось всю жизнь. Измѣнялись времена; въ русской жизни совершился переворотъ, смѣшавшій прежнія отношенія, принесшій съ новыми учрежденіями новые нравы,—Салтыковъ остается суровымъ наблюдателемъ, и если несомнѣнно всѣ его сочувствія были на сторонѣ новыхъ началъ, пробивавшихъ себѣ дорогу въ нашу общественную жизнь, то еще съ бо̀льшимъ негодованіемъ и отрицаніемъ относился онъ къ тѣмъ извращеніямъ, которыя не замедлили проникнуть и въ новую жизнь, къ тому хищничеству, которое едва-ли не сильнѣе, чѣмъ прежде, выростало на новой почвѣ, къ тому обскурантизму, который надѣялся своей интригой вернуть утраченное. Салтыковъ зорко слѣдилъ за совершавшимися событіями и за новыми нарождавшимися типами общественнаго и народнаго быта, и его разсказы, какъ уже было замѣчено его критиками, становятся цѣлою лѣтописью русской общественной жизни за послѣднія десятилѣтія. Какъ правдива была эта лѣтопись, видно изъ того, что слова Салтыкова безпрестанно вспоминались, что нарисованныя имъ лица стали нарицательными именами цѣлыхъ разрядовъ и типическихъ явленій нашего общества. Салтыковъ не увлекался, какъ значительная масса общества и литературы 50-хъ и 60-хъ годовъ, перспективами уже наступившаго будто бы прогресса и, напротивъ, въ разгарѣ оптимистическихъ ожиданій видѣлъ тревожные симптомы—и, къ сожалѣнію, не обманывался. Онъ усматривалъ, или чувствовалъ, возникавшій обманъ, и его картины не разъ были предвидѣніями.

Появленіе великихъ умовъ и талантовъ составляетъ загадку для общественной психологіи; но исторія указываетъ столько фактовъ, что съ возникающими историче-

скими задачами совпадаетъ и появленіе людей, которые становятся ихъ исполнителями, — что давно уже составился фаталистическій взглядъ объ ихъ необходимо совмѣстномъ нарожденіи, создалось даже извѣстное „поклоненіе героямъ“, будто бы однимъ совершающимъ историческую работу человѣчества. Къ сожалѣнію, исторія разсказываетъ и другое: проходятъ цѣлые вѣка историческихъ ожиданій, вѣка народныхъ бѣдствій, ищущихъ исцѣленія, но герои и цѣлители не приходятъ. Но если, какъ мы сказали, бывало, что для историческихъ задачъ нарождаются и люди, ихъ совершающіе, то нѣчто подобное произошло въ нашей недавней исторіи. Готовилось и исполнилось великое преобразованіе, измѣнившее видъ и внутренній складъ нашего общества,—и въ литературѣ явился суровый, неподкупный наблюдатель, въ которомъ нашла своего выразителя лучшая сторона общественнаго мнѣнія: произведенія Салтыкова освѣщали совершавшіяся событія. За порывами къ прогрессу наступало обратное теченіе, заговорили и начали дѣйствовать приверженцы стараго безправія: совершались дѣла лицемѣрія, насилія, обскурантизма; печать бывала безсильна сказать слово настоящей правды,—и это слово не однажды говорила только сатира Салтыкова. Въ эти трудныя времена,—и онѣ были продолжительны,—сатира Салтыкова была голосомъ общественной совѣсти. Этотъ голосъ часто старались заглушить, подрывая смыслъ этой сатиры, будто бы не имѣющей идеальнаго основанія и создающей каррикатуру, смѣхъ для смѣха, отвергая ея художественныя достоинства, наконецъ прямо обвиняя Салтыкова во враждѣ къ русскому обществу и народу. Салтыковъ не отвѣчалъ никогда на эти обвиненія. Лишь въ послѣдніе

годы, когда долгая и тяжкая болѣзнь окончательно подтачивала его силы и заставляла ждать недалекаго конца, онъ съ горькимъ чувствомъ оглядывался на прошедшій трудъ: этотъ трудъ казался ему непонятымъ, потерянным, напраснымъ, когда кругомъ твердили, что „онъ— вредный, вредный, вредный!“ и онъ чувствовалъ себя „оброшеннымъ“. Къ счастію, онъ не былъ „оброшенъ“— къ нему до послѣдняго времени доходили выраженія самыхъ искреннихъ сочувствій; но его горькія размышленія не были лишены основанія: и теперь, надъ свѣжей могилой, мы слышимъ грубыя ругательства или прилично изложенныя объясненія, что онъ былъ „вредный, вредный“...

Въ пору его свѣжей дѣятельности отвѣтомъ на обвиненія бывали только новыя произведенія, въ которыхъ все шире раздвигался грандіозный трудъ великаго писателя. Съ каждымъ новымъ произведеніемъ талантъ Салтыкова поражалъ новыми богатствами: часто, въ прежнее время, ему приходилось одѣвать свою мысль въ нѣсколько фантастическіе образы,—негодуя на условія, дѣлающія невозможной открытую свободную рѣчь, приходилось говорить, по его выраженію, езоповскимъ, рабьимъ языкомъ; однажды онъ вполнѣ воспользовался архаической формой Езоповой басни, въ своихъ „сказкахъ“, гдѣ съ удивительнымъ мастерствомъ рисовалъ своихъ зоологическихъ героевъ и въ ихъ приключеніяхъ давалъ печальные эпизоды изъ жизни человѣческаго общества; но затѣмъ онъ покидалъ и сказку, и фантастическій шаржъ, и давалъ простыя реальныя картины, удивлявшія глубокимъ знаніемъ жизни и не разъ наполнявшія читателя, среди смѣха, негодованіемъ и ужасомъ... Про-

изведенія Салтыкова — неизмѣримо больше, чѣмъ кого-нибудь другого изъ писателей нашего времени—будутъ не только высокими памятниками художественнаго творчества, но и драгоцѣнными историческими свидѣтельствами о внутренней жизни нашего общества за цѣлый періодъ эпохи преобразованій и эпохи реакціи.

Но если, какъ мы сказали, Салтыковъ оставался, повидимому, равнодушнымъ къ враждебнымъ нападеніямъ, на самомъ дѣлѣ онъ вовсе не былъ хладнокровенъ къ отзывамъ о своихъ произведеніяхъ; онъ не только интересовался ими, но волновался, когда въ этихъ отзывахъ была не голословная хвала или хула, а выдвигались критическія замѣчанія принципіальнаго свойства. Мы не сомнѣваемся, что въ основѣ этого волненія лежало не то узкое самолюбіе, которымъ слишкомъ часто отличается „раздражительное племя поэтовъ“, — Салтыковъ былъ слишкомъ уменъ, чтобы не знать цѣны своихъ непріятелей,—но забота о цѣломъ смыслѣ своей дѣятельности: въ критикѣ отражались часто взгляды значительной части общества, и онъ тревожился вопросами: былъ ли онъ правильно понятъ, достигаютъ ли цѣли тѣ усилія, какія полагалъ онъ на свой трудъ? Это была законная тревога; съ ней связана была мысль о всей его дѣятельности.

Здѣсь не мѣсто и не время говорить подробно о томъ, какъ принимались произведенія Салтыкова въ разное время и въ разныхъ слояхъ нашего общества; но возвратимся еще къ обвиненіямъ. Въ общемъ тонѣ необычайнаго успѣха, быстро созданной и оставшейся неколебимою славы, слышались съ разныхъ сторонъ опроверженія или недоумѣнія. Не говоримъ о томъ, что люди

закоренѣлой рутины, прототипы изображенныхъ имъ героевъ или ихъ прямые наслѣдники и преемники, должны были ненавидѣть его; противъ него раздался однажды голосъ изъ молодого поколѣнія (это былъ голосъ Писарева), обвинявшій его, что онъ ищетъ смѣха для смѣха, и другіе отзывы, находившіе, что стрѣлы сатиры Салтыкова попадаютъ иногда не туда, куда слѣдовало, что онъ неосторожно касается предметовъ, которые требовали къ себѣ больше вниманія, наконецъ, что онъ враждебно относится къ самому народу. Тѣ или другія изъ этихъ обвиненій намъ случалось слышать до послѣдняго времени даже въ средѣ людей, умѣющихъ понимать интересы литературы; мы слышали мнѣнія, что у Салтыкова не было руководящаго міровоззрѣнія, не было идеала, что громадный талантъ не имѣлъ прочной основы, иногда дѣйствовалъ невѣрно.

Вопросъ сводится, такимъ образомъ, къ самому существу содержанія Салтыкова. По нашему глубокому убѣжденію, эти обвиненія совершенно несправедливы, и чтобы удостовѣриться въ этомъ, надо только вникнуть въ цѣлый тонъ этого содержанія, въ личный характеръ и генетическія условія поэтическаго творчества Салтыкова.

„Я хочу только справедливости—и больше ничего“, говорилъ Салтыковъ, и еслибы нужно было въ двухъ словахъ обозначить глубочайшую основу его содержанія, она выражается этими словами. Дѣйствительно, это было главное, чего искала его тревожная душа и чѣмъ направлялась его литературная дѣятельность. Человѣкъ сильнаго ума, обладавшій громадною способностью наблюденія, до величайшихъ подробностей знавшій русскую жизнь, онъ

всегда оставался самъ собою, независимый въ своихъ взглядахъ, неизмѣнно послушный только своему чувству справедливости. Иные, особливо враги, называли Салтыкова человѣкомъ партіи: это было ошибочно. Напротивъ, онъ былъ именно всего менѣе человѣкъ партіи: это былъ человѣкъ единичный, иногда почти одинокій. Безъ сомнѣнія, общее основаніе его идей было то самое, какое принадлежитъ просвѣщеннѣйшимъ людямъ русскаго общества: это связало Салтыкова неразрывными узами съ тою частію общества, которая ищетъ для русскаго народа благъ просвѣщенія и общественной справедливости. Отсюда это высокое уваженіе, какимъ общество окружало великаго писателя, который сильнѣе чѣмъ кто-либо умѣлъ выразить, въ отрицательной формѣ сатиры, его задушевныя надежды или его горькое негодованіе. Но Салтыковъ никогда не былъ—и по всему складу характера и дарованія не могъ быть—ни главой, ни органомъ какого-либо „направленія“ или „партіи“. Его личное мнѣніе оставалось всегда свободно и независимо: своего творчества онъ не подчинялъ ни внѣшнему требованію, ни соображеніямъ какой-либо данной тенденціи. Не мудрено, что личный взглядъ иногда не совпадалъ съ тѣмъ, что думалось въ ту минуту въ кругу людей, общія идеи которыхъ онъ раздѣлялъ и которые имѣли если не все, то большое право считать его именно своимъ. Отсюда недовольство и даже обвиненія изъ своего круга, о которыхъ мы упоминали. Большею частію, если не всѣ, онѣ сводятся къ недоразумѣнію. Салтыковъ негодовалъ на обвиненія въ смѣхѣ для смѣха, какъ на грубое непониманіе.

Одинъ изъ главныхъ поводовъ къ нападеніямъ противъ него подала „Исторія одного города“, гдѣ въ особенности увидѣли враждебное отношеніе къ народу. Книга явилась лѣтъ 20 тому назадъ. Прочитавши одну статью, посвященную этой книгѣ, Салтыковъ, съ которымъ мнѣ съ давнихъ временъ не однажды случалось говорить объ его произведеніяхъ, пожелалъ знать мое мнѣніе объ упомянутой статьѣ и высказалъ самъ свои мысли о тѣхъ замѣчаніяхъ, какія были ему сдѣланы. Мы приведемъ нѣсколько выдержекъ изъ этого любопытнаго письма. Полагаемъ, что это не будетъ „нарушеніемъ воли“; думаемъ, напротивъ, что это скорѣе исполнитъ его волю, потому что поможетъ намъ бросить нѣкоторый свѣтъ на смыслъ его произведеній, разъясненіе котораго было всегда его особенной заботою. Среди воспоминаній, посвящаемыхъ ему въ настоящую минуту, пусть послышатся и его собственныя слова.—Обращаемся къ его письму 1871 года.

„Исторія одного города“ разсматривалась какъ историческая сатира. Салтыковъ рѣшительно возстаетъ противъ такого толкованія:

„Взглядъ на мое сочиненіе, какъ на опытъ исторической сатиры, совершенно невѣренъ,—писалъ онъ:—мнѣ нѣтъ никакого дѣла до исторіи, и я имѣю въ виду лишь настоящее. Историческая форма разсказа была для меня удобна потому, что позволяла мнѣ свободнѣе обращаться къ извѣстнымъ явленіямъ жизни. Можетъ быть, я и ошибаюсь, но во всякомъ случаѣ ошибаюсь совершенно искренно, что тѣ же самыя основы жизни, которыя существовали въ XVIII вѣкѣ, существуютъ и те-

перь. Слѣдовательно, „историческая“ сатира вовсе не была для меня цѣлью, а только формою. Конечно, для простого читателя не трудно ошибиться и принять исторический пріемъ за чистую монету, но критикъ долженъ быть прозорливъ и не только самъ угадать, но и другимъ внушить, что Парамоша совсѣмъ не Магницкій только, но вмѣстѣ съ тѣмъ и NN. И даже не NN, а всѣ вообще люди извѣстной партіи, и нынѣ не утратившей своей силы.

„Разсказъ отъ имени архиваріуса я тоже веду лишь для бо́льшаго удобства, и дорожу этой формой лишь настолько, насколько она даетъ мнѣ больше свободы. Вообще я выработалъ себѣ такое убѣжденіе, что никакою формою стѣсняться не слѣдуетъ, и замѣтилъ, что въ сатирѣ это не только не безобразно, но иногда даже не безъэффектно.

„Упрекъ въ „смѣхѣ ради смѣха“ вышелъ въ первый разъ отъ Писарева и имѣлъ источникомъ личное его враждебное ко мнѣ чувство. Съ тѣхъ поръ, всякій, кто на меня разсердится, поднимаетъ эту штуку, и такъ какъ эта штука дешевая, то танцовать на ней можно сколько угодно. Еслибъ мнѣ было доказано, что я предаю осмѣянію явленія почтенныя или нестоющія вниманія, я, навѣрное, прекратилъ бы дѣятельность столь идіотскую... Я, благодаря моему Создателю, могу каждое мое сочиненіе объяснить, противъ чего они направлены, и доказать, что они именно направлены противъ тѣхъ проявленій произвола и дикости, которыя каждому честному человѣку претятъ. Такъ, напримѣръ, градоначальникъ съ фаршированной головой означаетъ не человѣка съ фар-

ширированной головой, но именно градоначальника, распоряжающагося судьбами многихъ тысячъ людей. Это даже не смѣхъ, а трагическое положеніе. Гулящія дѣвки, которыя другъ у друга отнимаютъ бразды правленія, тоже едва-ли смѣхъ возбуждаютъ, то-есть могутъ возбуждать его лишь въ гоголевскомъ мичманѣ... Изображая жизнь, находящуюся подъ игомъ безумія, я разсчитывалъ на возбужденіе въ читателѣ горькаго чувства, а отнюдь не веселонравія. Достигъ ли я этого результата, это вопросъ иной.

„Наконецъ, обвиняютъ меня въ глумленіи надъ народомъ... Напр., въ статьѣ „о корени происхожденія“ [1]), гдѣ поименовываются головотяпы, моржеѣды и др. племена въ этомъ родѣ... Обратитесь къ Далю и Сахарову и увидите, что это племена мною не выдуманныя, но суть названія, присвоенныя жителямъ городовъ Россійской имперіи. Головотяпы—егорьевцы, гужеѣды—новгородцы и т. д. Если ужъ самъ народъ такъ себя честитъ, то тѣмъ болѣе права имѣетъ на это сатирикъ. Затѣмъ, что̀ касается до моего отношенія къ народу, то мнѣ кажется, что въ словѣ: „народъ“ надо отличать два понятія: народъ историческій и народъ, представляющій собою извѣстную идею... Первому, выносящему на своихъ плечахъ Бородавкиныхъ, Бурчеевыхъ и т. п., я, дѣйствительно, сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовалъ, и всѣ мои сочиненія полны этимъ сочувствіемъ. Я въ первый разъ слышу подобный упрекъ“.

---

[1]) Въ „Исторіи одного города“.

Нужны ли дальнѣйшія объясненія послѣ „Пошехонской Старины“? Если Салтыкову были антипатичны, столько же въ народной массѣ, сколько и въ самомъ обществѣ, ихъ вопіющіе и не подлежащіе никакому сомнѣнію недостатки—умственная лѣнь, тупая вражда къ просвѣщенію, непониманіе общественныхъ интересовъ, огрубѣніе, доходящее до дикости, то какимъ глубокимъ чувствомъ соболѣзнованія проникнуто это послѣднее произведеніе Салтыкова, которое останется, вѣроятно, навсегда самой вѣрной, глубокой и потрясающей картиной эпохи крѣпостного права!

Гдѣ же источники общественнаго міровоззрѣнія Салтыкова? Мы сказали, что при всѣхъ сочувствіяхъ, общихъ ему съ лучшими людьми нашего общества отъ 50-хъ до 80-хъ годовъ, было въ его взглядахъ нѣчто особенное, своеобразное и независимое. Мы объяснимъ это себѣ, если вспомнимъ первую юношескую пору развитія Салтыкова. Въ немъ мы видѣли передъ собой одинъ изъ благороднѣйшихъ остатковъ 40-хъ годовъ, именно той стороны этой замѣчательной эпохи, когда увлеченія отвлеченной философіей смѣнились жгучимъ интересомъ къ вопросамъ общественнымъ въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. Сама дѣйствительность была такова, что мыслящіе люди не находили въ ней мѣста и дѣла: единственнымъ исходомъ была литература. Дѣйствительность или забывалась этими людьми, или производила на нихъ только отталкивающее дѣйствіе: они уходили въ книгу, въ размышленіе, въ тѣ глубокіе, почти безграничные во-

просы объ общественныхъ судьбахъ человѣчества, гдѣ отыскивался въ будущемъ идеалъ лучшаго строя съ господствомъ свободы и справедливости. То было время усиленнаго броженія въ жизни европейскаго Запада, и отголоски его доходили къ намъ въ цѣлой литературѣ, состоявшей изъ протеста и полу-фантастическихъ идеаловъ. Эти идеалы бывали даже вполнѣ фантастическими, и они не имѣли бы дѣйствія, еслибы не были создаваемы пламенными мечтами о благѣ человѣчества и не были, кромѣ того, сильны сопровождавшею ихъ критикой существующаго порядка вещей.

Салтыковъ несомнѣнно не остался чуждъ этому движенію, не въ томъ смыслѣ, чтобы самъ онъ сталъ адептомъ этихъ ученій, но въ томъ смыслѣ, что они подѣйствовали на него какъ глубокое, жизненное идеалистическое возбужденіе. Салтыковъ былъ 22-лѣтній юноша, когда писалъ „Запутанное Дѣло“: по этому разсказу видно, что этотъ юноша, съ тѣмъ сильнымъ и здравымъ умомъ, который уже тогда его отличалъ, съумѣлъ отнестись критически къ мечтательнымъ крайностямъ этихъ ученій; но изъ того же разсказа видно, что его собственныя мысли витали въ этой области. Несомнѣнное дарованіе, сквозящее въ этомъ первомъ или почти первомъ произведеніи, нашло въ этой области далекаго идеала основу общественныхъ воззрѣній. Талантъ Салтыкова не искалъ дороги; она была найдена съ перваго раза, и съ тѣхъ поръ, какъ въ пору зрѣлаго мужества онъ возобновилъ, въ новое царствованіе, свою литературную дѣятельность, начиная съ „Губернскихъ Очерковъ“ и кончая „Пошехонской Стариной“, онъ шелъ однимъ

неизмѣннымъ путемъ, изображая жизнь, угнетаемую, по его выраженію, „игомъ безумія“, его сатира переходила въ трагедію, и въ глубинѣ его мрачныхъ картинъ свѣтился вынесенный изъ юности и бережно сохраненный идеалъ добра, справедливости и просвѣщенія.

15-го мая 1889.

ЖУРНАЛЬНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

„Современникъ", 1863—1864.

I.

Салтыковъ былъ такою крупною и оригинальною силою нашей литературы въ теченіе четырехъ десятилѣтій, что ему безъ сомнѣнія посвящено будетъ не мало изученій и литературныхъ, и историческихъ. Это—писатель художественный и публицистъ въ одно и то же время. При жизни онъ развѣ только однажды встрѣтилъ подробную и цѣльную оцѣнку своихъ произведеній, которая отдавала справедливость всему объему и значенію его громаднаго труда, съ обѣихъ сторонъ его содержанія. Его произведенія, въ большинствѣ, были такъ тѣсно связаны съ современностью, что въ нихъ читатель искалъ прежде всего его отзывовъ на „злобу дня", и слишкомъ часто не оцѣнивалъ высокой художественности его многихъ изображеній; съ другой стороны, такъ-называемая художественная критика не разъ упрекала его въ изли-

шествахъ его сатиры, въ недостаткѣ вниманія къ художественному исполненію, въ преувеличеніи, даже карикатурѣ и т. д. Правдивую оцѣнку Салтыкова дастъ, конечно, историческая критика: она укажетъ какъ свойства дарованія писателя, такъ и тѣ внѣшнія условія, которыя направляли его дѣятельность и отъ которыхъ въ большой мѣрѣ именно зависѣла форма и тонъ его произведеній. Современникамъ еще слишкомъ близка та дѣйствительность, которая доставляла матеріалъ для его творчества, которая возбуждала его чувство, наполняла его душу негодованіемъ и горечью; современникамъ трудно, а иногда и невозможно бываетъ отдать себѣ полный отчетъ въ истинномъ характерѣ этой дѣйствительности, въ томъ впечатлѣніи, какое оказывала она на чуткую, нервную натуру писателя,—и вмѣстѣ трудно было бы со всею полнотой изобразить тѣ обстоятельства, ту среду, въ которыхъ совершалась вся эта дѣятельность; а безъ этого невозможно вполнѣ оцѣнить писателя, который весь поглощенъ былъ тревожными вопросами жизни и волновался ея возмутительными неправдами.

При жизни Салтыковъ, какъ всякій писатель, затрогивающій чувствительныя и больныя струны времени, возбуждалъ и самыя горячія сочувствія — въ тѣхъ, кто находилъ у него высказанными свои задушевныя мысли, и настоящую ненависть—въ тѣхъ, для кого онъ являлся суровымъ обличителемъ; но не много было писателей, которые возбуждали бы въ обществѣ эти противоположныя чувства въ такой степени. Это указываетъ опять, какъ сильна была въ Салтыковѣ эта обличающая и осуждающая сторона его произведеній, какъ будто бравшая верхъ надъ чисто поэтическими, художественными замы-

слами. Намъ кажется, что сужденія о Салтыковѣ будутъ ошибочны, если критика будетъ относиться къ нему только съ чисто эстетическими требованіями, потому что очень часто онъ самъ приступалъ къ своему труду не какъ художникъ, а именно какъ публицистъ. Даже въ тѣхъ произведеніяхъ, гдѣ видятъ особенную высоту художественнаго исполненія, Салтыковъ вовсе не былъ тѣмъ традиціоннымъ художникомъ, который „поетъ какъ птица“; даже здѣсь у него бываетъ „намѣреніе“ или „тенденція“, то-есть совершенно опредѣленный, почти прямо публицистическій взглядъ на изображаемыя явленія жизни. Онъ не подходитъ подъ обычныя,—уцѣлѣвшія отъ временъ романтизма,—опредѣленія художественнаго творчества во множествѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ онъ рисуетъ не столько живыя, реальныя лица, сколько общія настроенія, ходячія въ обществѣ понятія, словомъ, изображаетъ цѣлое состояніе общественныхъ отношеній. Этихъ, такъ сказать, теоретическихъ картинъ разсѣяно такъ много въ его произведеніяхъ, что очевидно ихъ тема составляла для него предметъ самаго глубокаго интереса. Этотъ интересъ былъ именно публицистическій. Для стариннаго художества это былъ, собственно говоря, сюжетъ невозможный: поэтъ и художникъ говоритъ и дѣйствуетъ образами, а здѣсь ихъ иногда вовсе не было: передъ читателемъ, напротивъ, проходила вереница общихъ положеній, казуистическихъ аллегорій, развиваемыхъ авторомъ со всѣхъ сторонъ въ разнообразныхъ комбинаціяхъ; интересъ разсужденія заключался именно въ томъ, что здѣсь разбиралась путаница ходячихъ мнѣній, которыя нерѣдко бывали логическою нелѣпостью, безсмысленнымъ увлеченіемъ, остаткомъ стараго злобнаго

крѣпостничества и обскурантизма, и т. д., и задача, которую ставилъ себѣ авторъ, была именно въ томъ, чтобы раскрыть эту логическую нелѣпость, обнаружить непривлекательную или прямо отвратительную подкладку и заднюю мысль, прятавшуюся за фразами объ общественномъ благѣ или даже о спасеніи отечества. Мы не сомнѣваемся, что позднѣе, когда пройдетъ современная „злоба дня“ и для нея самой начнется исторія, будетъ глубже и справедливѣе оцѣненъ этотъ господствующій нервъ литературной дѣятельности Салтыкова. Онъ никогда не былъ спокоенъ; его жизнь пришлась въ такую пору нашей исторіи, когда послѣ многихъ десятилѣтій застоя, гоненія на мысль, общественной безурядицы и крѣпостного насилія, покрываемыхъ молчаніемъ или рабскими панегириками, наступало, повидимому, время освобожденія—по крайней мѣрѣ отъ самыхъ крупныхъ золъ только-что пережитаго порядка вещей; но уже вскорѣ стало оказываться, что надежды были преждевременны, что старые нравы, воспитывавшіеся безпрепятственно цѣлыми вѣками, уступаютъ не такъ легко,—уже вскорѣ эти нравы успѣли взять верхъ надъ слабыми начатками новаго порядка вещей и съумѣли, не отвергая новыхъ словъ, вошедшихъ въ употребленіе, подложить подъ нихъ старое содержаніе. Салтыковъ былъ глубоко и страстно преданъ мысли и надеждѣ общественнаго преобразованія; какъ авторъ „Губернскихъ Очерковъ“, которые сами были своеобразнымъ, небывалымъ изображеніемъ обыденной русской жизни, еще нетронутой никакими новыми идеями, онъ не мало участвовалъ въ созданіи новаго настроенія, охватывавшаго наше общество во второй половинѣ 50-хъ годовъ, и съ тѣхъ поръ онъ

чутко слѣдилъ за всѣми проявленіями этой внутренней, сначала глухой, потомъ открытой борьбы новыхъ начинаній со старыми инстинктами въѣвшагося въ нравы крѣпостничества и обскурантизма. Нерѣдко съ удивительною проницательностью онъ раскрывалъ эти старые инстинкты въ подкладкѣ либерализма, становившагося модой, угадывалъ фальшивый тонъ мнимыхъ ревнителей общественнаго блага, указывалъ пустоту тѣхъ фразъ, какими наполнялись тогда общество и литература. Его проницательность рѣдко ошибалась: чѣмъ дальше шло время, тѣмъ шире и грандіознѣе выростала реакція, зачатки которой онъ услѣдилъ при самомъ первомъ ихъ проявленіи, и чѣмъ сильнѣе самъ онъ проникнутъ былъ желаніемъ видѣть водвореніе общественной правды или даже просто здраваго смысла и элементарной справедливости, тѣмъ больше его настроеніе становилось желчнымъ и раздражительнымъ.

Эта мысль объ общественномъ благѣ, эта скорбь и негодованіе, какими его наполняло зрѣлище всякихъ нарушеній самаго основного общественнаго интереса, составляютъ существенную черту, проходящую чрезъ все содержаніе его произведеній отъ начала и до конца. Трудно сказать, что̀ больше и чаще возбуждало его писательскую дѣятельность—потребность художественнаго воспроизведенія о̀бразовъ, создаваемыхъ богатой фантазіей, или чисто публицистическая потребность отозваться на волненія своего времени и карать тѣ безсмысленныя явленія, которыя возмущали въ немъ гражданское чувство. Быть можетъ, скорѣе послѣднее; но необычайный талантъ дѣлалъ то, что публицистическая мысль подъ его перомъ сама собой облекалась въ плоть и кровь, и онъ

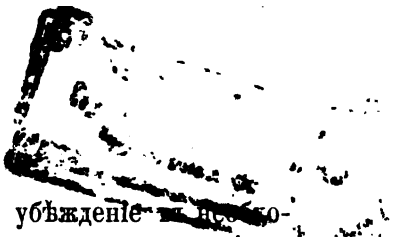
заставлялъ ее высказываться въ живыхъ лицахъ и реальныхъ положеніяхъ. Не разъ онъ начинаетъ рѣчь съ общихъ вопросовъ, и тотчасъ въ видѣ комментарія въ его воображеніи создается эпизодъ изъ дѣйствительной жизни съ тонко подмѣченными чертами характеровъ, нравовъ и понятій. Борьба, происходившая въ обществѣ и имъ наблюдаемая, захватывала наконецъ самые широкіе интересы, совершалась въ сферахъ, очень трудно доступныхъ для общественнаго мнѣнія и литературы, и это опять съ самаго начала побуждало Салтыкова прибѣгать къ тому языку иносказаній, намековъ, туманныхъ разсужденій, который онъ самъ характеризовалъ какъ „езоповскій“ и „рабій“ языкъ и который, къ сожалѣнію, въ самомъ дѣлѣ оставался единственнымъ возможнымъ. Нерѣдко бывало и то, что иносказательная, фантастическая картина сама вызывала на развитіе; аллегорія переходила почти въ сказку, но читатель, привыкшій къ своему автору, чувствовалъ, что это не была, однако, только произвольная и безплодная игра воображенія, что въ основѣ фантастической сказки или каррикатурнаго преувеличенія лежала совершенно серьезная мысль.

Въ тѣхъ сочиненіяхъ Салтыкова, какія собиралъ онъ въ изданныхъ имъ книжкахъ и которыя объединяются въ послѣднемъ начатомъ имъ собраніи, недостаетъ цѣлаго ряда его произведеній, которыя не были внесены въ его сборники очевидно потому, что въ нихъ преобладаетъ именно публицистическій интересъ, слишкомъ привязанный къ извѣстной минутѣ и къ даннымъ литературнымъ спорамъ и столкновеніямъ. Салтыковъ былъ правъ, когда не вносилъ въ свои сборники этого рода произведеній: онѣ имѣли слишкомъ тѣсный журнальный

характеръ, понятны были бы вполнѣ только въ свое время, въ обстановкѣ данныхъ литературныхъ отношеній. Точно также въ извѣстныя собранія сочиненій не вошло множество небольшихъ статей критическаго содержанія, чисто публицистическихъ трактатовъ, полемическихъ замѣтокъ и т. п., которыя еще болѣе носили этотъ временной журнальный характеръ. Но если изучать Салтыкова исторически, то, безъ сомнѣнія, необходимо собрать и разсмотрѣть и эти журнальные труды, тѣмъ болѣе, что они представятъ особенное удобство изученія его непосредственнаго, такъ сказать, обыденнаго настроенія. Дѣятельность художественная, какъ бы тѣсно ни примыкала она къ жизни, всегда носитъ въ себѣ извѣстную условность, нераздѣльную съ искусствомъ. Въ простой журнальной бесѣдѣ писатель остается свободнѣе; не стѣсняемый формой, онъ высказываетъ прямо свои взгляды, вступаетъ въ полемику, вдается въ теоретическія толкованія, имѣетъ возможность говорить и о крупныхъ, и о мелкихъ явленіяхъ данной минуты, и въ концѣ концовъ его общее содержаніе выясняется въ непринужденной бесѣдѣ чертами личныхъ взглядовъ, какихъ мы не встрѣтимъ въ его художественныхъ произведеніяхъ.

Послѣ рѣзко прерваннаго начала его писательства, въ концѣ 40-хъ годовъ, Салтыковъ возвратился къ литературной дѣятельности въ новое царствованіе, когда вернулся изъ Вятки. Это былъ конецъ Крымской войны и начало нашего возрожденія. „Губернскіе Очерки“ явились въ только-что основанномъ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Теперь уже немногіе помнятъ по собственному чтенію, чѣмъ начиналъ тогда этотъ журналъ. „Русскій Вѣстникъ“ съ перваго раза пріобрѣлъ большую популярность:

журналъ былъ однимъ изъ самыхъ яркихъ выраженій того оживленія, какое проявилось въ обществѣ подъ вліяніемъ всѣхъ условій тогдашней общественной жизни. Конецъ тяжелаго періода нашей исторіи, который лежалъ гнетомъ на умственныхъ и общественныхъ интересахъ; окончаніе войны, которая долго держала общество въ напряженіи и среди славныхъ подробностей геройской защиты Севастополя оставляла, однако, неотразимое и всѣми чувствуемое убѣжденіе не только въ нашей военной отсталости, но и въ ложномъ направленіи всего нашего внутренняго быта; начало новаго царствованія, когда вступалъ на престолъ питомецъ Жуковскаго, отъ котораго ждали новой эпохи для цѣлой государственной и народной жизни, и когда оживленный говоръ общественнаго мнѣнія предсказывалъ, и не безъ основанія, цѣлый рядъ крупныхъ реформъ, на первомъ планѣ которыхъ стояла давно жданная образованнѣйшими людьми и обѣщавшая самые широкіе результаты крестьянская реформа; въ обществѣ—чувство облегченія, самыя свѣтлыя надежды на будущее, поспѣшное желаніе принять участіе въ предстоящемъ преобразованіи общественнаго быта; наконецъ, нѣкоторыя правительственныя мѣры, убѣждавшія, что въ самихъ высшихъ сферахъ дѣйствительно получаютъ мѣсто новыя мысли, неизвѣстныя недавнему прошлому—таковы были условія, опредѣлявшія литературное движеніе той эпохи, и „Русскій Вѣстникъ“, какъ разъ основанный въ это время, явился однимъ изъ главныхъ органовъ этого общественнаго возбужденія. Въ новомъ журналѣ собирались отборныя силы русской литературы, представители поколѣнія сороковыхъ годовъ; въ этомъ кругу уже давно сформировались тѣ просвѣ-



щенные общественные взгляды, то убѣжденіе въ необходимости поднять русское просвѣщеніе и общественную самодѣятельность,—которымъ не было мѣста въ прежней литературѣ и которые теперь могли почти безпрепятственно высказываться, оставаясь на законной почвѣ, какъ бы слѣдуя указаніямъ самой власти. Въ половинѣ 1856 года, перваго года изданія „Русскаго Вѣстника“, появилось въ журналѣ начало „Губернскихъ Очерковъ“. Эта замѣчательная картина административныхъ и общественныхъ нравовъ, созданныхъ предыдущей эпохой, являлась драгоцѣннымъ комментаріемъ къ тѣмъ призывамъ реформы, какіе наполняли тогда литературу. „Губернскіе Очерки“ являлись очень кстати, въ частности и для самого журнала: они произвели сильное впечатлѣніе и, съ своей стороны, безъ сомнѣнія, не мало содѣйствовали успѣху „Р. Вѣстника“. Они продолжались и въ первую половину 1857 года и въ томъ же году выдержали отдѣльной книгой два изданія. Имя Салтыкова было составлено. Въ литературныхъ кругахъ очень помнили ту оригинальную повѣсть, которая свидѣтельствовала о большомъ начинающемъ талантѣ и была причиной ссылки молодого писателя: его привѣтствовали какъ стараго знакомаго; лучшіе журналы тѣхъ годовъ предлагали ему свои страницы, и въ томъ же 1857 году явилась его первая повѣсть въ „Современникѣ“ („Женихъ, картина провинціальныхъ нравовъ“); въ тѣ же годы его разсказы появлялись въ „Библіотекѣ для чтенія“, „Атенеѣ“, „Московскомъ Вѣстникѣ“. Съ 1859 года его разсказы помѣщались почти исключительно въ „Современникѣ“—до 1862 года; послѣ перваго закрытія этого журнала въ половинѣ того года, Салтыковъ отдалъ нѣсколько раз-

сказовъ въ журналъ „Время“, издававшійся Достоевскими, а по возобновленіи „Современника“ въ началѣ 1863 года Салтыковъ принялъ въ немъ самое дѣятельное участіе, между прочимъ какъ членъ редакціи. Это ближайшее участіе въ журналѣ продолжалось два года до конца 1864, когда Салтыковъ оставилъ участіе въ редакціи, принявъ служебное назначеніе въ провинцію. Послѣдній разсказъ его въ „Современникѣ“ явился въ первой книжкѣ за 1866, послѣдній годъ существованія этого журнала („Завѣщаніе моимъ дѣтямъ“).

Рѣдко Салтыковъ бывалъ такъ плодовитъ, какъ въ упомянутые два года (1863—1864) его участія въ „Современникѣ“. До тѣхъ поръ онъ не имѣлъ ближайшихъ отношеній къ какому-либо изданію; онъ помѣщалъ свои разсказы въ томъ или другомъ изданіи, не входя съ нимъ въ непосредственную связь; здѣсь онъ въ первый разъ принимаетъ участіе въ самомъ веденіи журнала и самъ много пишетъ по разнымъ отдѣламъ его программы. Эта плодовитость показываетъ, какъ сильно занимало его журнальное дѣло, — и это было естественно. Мы замѣтили, что не легко отличить, кто былъ сильнѣе въ Салтыковѣ— художникъ или публицистъ: его живѣйшимъ образомъ интересовала и возбуждала текущая борьба жизни; онъ со вниманіемъ слѣдилъ за совершавшимися событіями и спѣшилъ отозваться на нихъ своимъ мнѣніемъ и горячимъ осужденіемъ или насмѣшкой, когда его затрогивала и волновала та или другая вопіющая неправда. Онъ съ большой охотой принялъ мысль о возстановленіи „Современника“, срокъ запрещенія котораго (послѣ 1862) истекалъ къ февралю 1863: уже раньше его сочувствія принадлежали этому журналу, въ которомъ съ конца 1850-хъ

годовъ онъ преимущественно помѣщалъ свои произведенія. Но времена были уже не тѣ, какъ въ то время, когда онъ выступалъ съ „Губернскими Очерками". Крестьянская реформа совершилась, были въ ходу другія преобразованія: шли приготовленія къ судебной реформѣ, собирались данныя для введенія земскихъ учрежденій, новаго положенія о печати; но въ общемъ настроеніи и правительственной власти и общества наступала все болѣе явная перемѣна. Первое крупное дѣло какъ бы истощало силы реформы: съ 1861 года, вслѣдъ за освобожденіемъ крестьянъ, уже начинаются въ высшихъ сферахъ признаки утомленія или недовѣрія, и понятно, что въ томъ обществѣ, которое вѣками жило только по указкѣ и огромное большинство котораго было совершенно непривычно къ самостоятельному сужденію въ сложныхъ предметахъ общественной жизни, тотчасъ отразилось состояніе барометра. Отразилось оно и въ литературѣ: люди безхарактерные усомнились въ собственныхъ вчерашнихъ восторгахъ; люди ловкіе разсчитали, что нужно произвести нѣкоторыя перемѣны въ тонѣ и направленіи своихъ разсужденій, чтобы вѣрнѣе обезпечить свое благополучіе; мистическіе патріоты нашли время удобнымъ для своихъ излюбленныхъ идей, для туманныхъ проповѣдей о народѣ и о „почвѣ"; наконецъ, вышли на сцену и явные крѣпостники, которые до тѣхъ поръ не рѣшались выступать открыто съ своими тенденціями, а теперь стали излагать ихъ весьма откровенно и недвусмысленно. Положеніе возобновленнаго журнала было очень затруднительное: редакція журнала и Салтыковъ въ особенности не измѣнили того общаго взгляда на положеніе вещей, какой образовывался во второй половинѣ 50-хъ

годовъ, и если уже раньше, въ 1861 и въ 1862 годахъ, этотъ взглядъ начиналъ по условіямъ времени терять свою правоспособность въ глазахъ возроставшей реакціи, то теперь онъ становился почти прямо опальнымъ. Думаемъ, что теперь еще не пришло время для болѣе подробныхъ объясненій того положенія вещей, и обратимся къ самымъ произведеніямъ Салтыкова.

Мы сказали, что срокъ запрещенія журнала истекалъ къ февралю 1863 года, и потому, чтобы восполнить количество книжекъ, въ февралѣ издана была двойная книга—за январь и февраль. Въ этотъ томъ вошелъ цѣлый рядъ крупныхъ и мелкихъ статей Салтыкова: три эпизода „Невинныхъ Разсказовъ“ (Деревенская тишь,—Для дѣтскаго возраста,—Миша и Ваня. Забытая исторія), съ подписью Н. Щедрина, затѣмъ нѣсколько статей въ отдѣлѣ Современнаго Обозрѣнія: „Нѣсколько словъ по поводу „Замѣтки“, помѣщенной въ октябрьской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ за 1862 годъ“, съ подписью: Т—нъ; далѣе „Московскія письма“, съ подписью: „К. Гуринъ“; статьи: „Петербургскіе театры“, „Наша общественная жизнь“ и нѣсколько рецензій въ библіографическомъ отдѣлѣ—безъ подписи. Кромѣ беллетристическихъ разсказовъ, которые здѣсь, какъ и въ другихъ книжкахъ, Салтыковъ подписывалъ псевдонимомъ Н. Щедрина, его публицистическія статьи, подписанныя другими псевдонимами или безъименныя, какъ выше замѣчено, не вошли потомъ въ собранія его сочиненій и въ настоящее время почти забыты [1]).

[1]) Въ одной изъ книжекъ „Русской Мысли“ за 1889 годъ, г. Я., излагая литературную дѣятельность Салтыкова-Щедрина, совсѣмъ не упомянулъ цѣлаго отдѣла публицистическихъ и критическихъ статей Салтыкова, скры-

Въ каждой изъ этихъ публицистическихъ статей мы встрѣтимся съ тѣмъ или другимъ вопросомъ, занимавшимъ тогда общественное мнѣніе, и особенно съ вопросами, составлявшими предметъ литературныхъ толковъ и нерѣдко весьма мудреными. Выше мы дали понятіе о томъ, какъ стоялъ тогда общественный барометръ. Въ короткій промежутокъ времени, въ теченіе 1861—1862 г., этотъ барометръ пошелъ сильно назадъ: вопросы, еще недавно вызывавшіе въ литературѣ оживленные толки, отступаютъ на второй планъ; задорныя фразы о „нашемъ времени, когда“ и т. д. смѣняются разсудительными объясненіями о вредѣ излишней поспѣшности въ общественныхъ преобразованіяхъ, о преимуществахъ постепенности, о томъ, какъ полезно было бы дорожить опытами прошедшаго, которое было не такъ дурно, и, наконецъ, ожесточенными нападеніями на либерализмъ и вольнодумство; Тургеневъ подсказалъ тогда извѣстный терминъ нигилизма, которому обрадовались, какъ находкѣ, озлобленные люди, не умѣвшіе сами опредѣлить, что̀ собственно вызываетъ ихъ вражду въ новѣйшемъ критическомъ и отрицательномъ направленіи. Салтыковъ больше чѣмъ многіе другіе стоялъ въ средѣ самаго вопроса. Онъ во-о̀чію видѣлъ и мастерски описалъ то ста-

тыхъ подъ другими псевдонимами или неподписанныхъ; повидимому, онъ не зналъ объ ихъ существованіи; мы возстановляемъ принадлежность ихъ Салтыкову частью по личной памяти, частью при помощи бумагъ Салтыкова, какія намъ случилось просматривать. Изъ выписокъ, ниже приводимыхъ, читатель самъ будетъ въ состояніи увѣриться, что читаетъ произведенія пера Салтыкова.

Изъ ряда статей Салтыкова, на которыхъ мы остановимся въ дальнѣйшемъ изложеніи, только два-три разсказа были потомъ перепечатаны въ сборникѣ „Признаки времени“ („Сочиненія Салтыкова, изданіе автора“, томъ II).

рое міровоззрѣніе, которое было именно главнымъ предметомъ новѣйшаго отрицанія; либерализмъ молодыхъ поколѣній являлся прежде всего антитезомъ этого стараго міровоззрѣнія. Далѣе, Салтыковъ, снова вернувшись въ литературу, также во-дчію ознакомился съ ея содержаніемъ и главными дѣйствующими лицами: онъ зналъ московскіе литературные кружки—редакцію „Русскаго Вѣстника“, И. С. Аксакова и пр.—и кружки петербургскіе въ первомъ разгарѣ нашего возрожденія; его наблюдательность помогла ему оцѣнить личные характеры, и послѣ, когда стали совершаться колебанія и отступленія, ему не трудно было по страницамъ журналовъ угадывать психологическіе процессы, совершавшіеся съ извѣстными ему людьми. Столько же понятны были ему происходившія теперь колебанія въ общественномъ мнѣніи; его не удивляла ни путаница понятій, ни возвраты мнимаго либерализма къ любимымъ привычкамъ недавнихъ нравовъ; онъ предвидѣлъ, чѣмъ должны кончаться начинавшіяся колебанія или намѣренные повороты мнѣній; словомъ, онъ ясно понималъ, что въ цѣломъ общественномъ настроеніи готовится реакціонный переворотъ, и желалъ, сколько было возможно, бросить свѣтъ въ эту мглу, начинавшую облегать общественную жизнь. Говорить прямо, называть вещи ихъ именами было невозможно, какъ было невозможно прежде, да и послѣ: уже теперь Салтыковъ прибѣгаетъ къ иносказаніямъ, къ отвлеченнымъ разсужденіямъ на темы общественныхъ отношеній, какъ часто онъ употреблялъ этотъ способъ бесѣды впослѣдствіи; но было также не мало случаевъ, когда онъ велъ прямую, недвусмысленную полемику. Поводы къ этой полемикѣ представлялись нерѣдко: онъ не

разъ обращается къ „Русскому Вѣстнику“, который онъ близко зналъ въ эпоху его либерализма и который теперь, въ новомъ поворотѣ своей политики (съ 1861 года), внушалъ ему весьма непріязненное чувство; онъ спорилъ противъ И. С. Аксакова, котораго, помнится, лично зналъ довольно хорошо и у котораго, однако, не сочувствовалъ изысканно-высокопарному, мистическому тону, который мѣшалъ ему говорить прямѣе о простыхъ реальныхъ вещахъ или, какъ думалось, кажется, Салтыкову, предохранялъ отъ непріятныхъ столкновеній; наконецъ, столь же отрицательно, съ оттѣнкомъ пренебреженія, говорилъ Салтыковъ о недавно передъ тѣмъ начавшемся журналѣ „Время“ съ его народническими прорицаніями, которыхъ Салтыковъ никакъ не хотѣлъ понимать сколько-нибудь серьезно.

Первая статья, на которой мы здѣсь остановимся (по поводу „Замѣтки“ Русскаго Вѣстника), относится къ вопросу о печати. Въ числѣ предметовъ, на которые было тогда обращено вниманіе правительства, какъ предметовъ, требующихъ преобразованія и улучшенія, былъ вопросъ о печати, рѣшенный впослѣдствіи извѣстнымъ уставомъ о печати 1865 года. Въ тѣ годы назначена была особая коммиссія для разсмотрѣнія этого вопроса, которая и выработала проектъ новыхъ положеній о печати. „Русскій Вѣстникъ“ имѣлъ возможность получить этотъ проектъ и въ своей „Замѣткѣ“ изложилъ содержаніе документа, снабдивъ его своими замѣчаніями. Этому и посвящена статья Салтыкова. Все это дѣло принадлежитъ теперь исторіи; самый уставъ 1865 года, близкій къ этому проекту, съ тѣхъ поръ, какъ извѣстно, былъ

сильно видоизмѣненъ, но статья Салтыкова остается любопытна по взгляду на положеніе нашей печати, въ общемъ сохраняющееся до сихъ поръ. Извѣстно, что въ уставѣ (какъ было уже намѣчено и въ проектѣ) прежнее положеніе печати было очень измѣнено сравнительно съ прежнимъ: во-первыхъ, цензурное вѣдомство перенесено было изъ министерства просвѣщенія въ министерство внутреннихъ дѣлъ; во-вторыхъ, введена была цензура карательная кромѣ цензуры предварительной, которая, впрочемъ, продолжала существовать, и вообще веденіе цензурныхъ дѣлъ обставлено формальностями, заимствованными изъ тогдашняго французскаго законодательства о печати, придуманнаго правительствомъ второй имперіи. Не приводя всѣхъ подробностей взгляда Салтыкова, укажемъ изъ него только два-три пункта.

Весь проектъ 1862 года и замѣчанія къ нему „Русскаго Вѣстника“, очевидно, проникнуты были извѣстною недовѣрчивостью къ нашей печати, опасеніями ея вреднаго вліянія, противъ котораго должны быть приняты строгія, но и тонкія мѣры. Можно себѣ представить, что Салтыковъ, который, конечно, былъ компетентный судья въ этомъ вопросѣ и какъ писатель, и какъ человѣкъ, до всѣхъ мелочей знакомый и съ общественными, и съ административными нравами и, наконецъ, съ содержаніемъ самой литературы, вовсе не раздѣлялъ этихъ опасеній. Онъ думалъ, напротивъ, что русская литература была такъ подавлена окружавшей ее издавна подозрительной опекой и вмѣстѣ такъ извращена, что, напротивъ, нуждалась именно въ бо̀льшей свободѣ, которая была бы предоставлена ей открыто, безъ всякихъ заднихъ мыслей и опасеній, и возвратила (или доставила въ первый

разъ) возможность серьезной рѣчи и нравственнаго достоинства.

Онъ сожалѣлъ, во-первыхъ, о перенесеніи цензуры въ министерство внутреннихъ дѣлъ. Онъ зналъ очень хорошо, что, собственно говоря, все въ этомъ случаѣ будетъ зависѣть отъ личнаго взгляда того или другого министра, что литература можетъ почувствовать себя хорошо подъ начальствомъ министра внутреннихъ дѣлъ и очень худо подъ начальствомъ министра просвѣщенія.

„Но съ раціональной точки зрѣнія, — продолжаетъ онъ,—это совсѣмъ не такъ безразлично. Не надо забывать, что литература есть одинъ изъ могущественнѣйшихъ рычаговъ народнаго просвѣщенія, и что, напротивъ того, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, въ томъ составѣ, въ какомъ существуетъ это учрежденіе въ Россіи, сосредоточивается высшая полицейская власть. Какое отношеніе можетъ существовать между литературой, какъ органомъ просвѣщенія, и полиціей, какъ органомъ охраненія государственной безопасности, угадать хотя не трудно, но не трудно именно вслѣдствіе той перепутанности понятій и опредѣленій, которая въ послѣднее время, вслѣдствіе разныхъ случайныхъ причинъ, такъ сильно господствуетъ въ обществѣ нашемъ. Сфера дѣйствій полиціи, сама по себѣ очень почтенная и заслуживающая полнаго сочувствія людей благомыслящихъ, есть вмѣстѣ съ тѣмъ сфера совершенно особая и притомъ строго ограниченная; она сообщаетъ всей ея дѣятельности особенный характеръ и даже особенныя привычки. Постоянно имѣя дѣло съ противообщественными попытками и наклонностями самаго грубаго, несложнаго и незамысловатаго свойства, полиція и въ дѣйствіяхъ своихъ про-

тивъ нихъ обнаруживаетъ нѣкоторую грубость, несложность и незамысловатость. Теперь же она будетъ поставлена лицомъ къ лицу съ преступленіями мысли, преступленіями свойства деликатнаго и почти неуловимаго, преступленіями уже по тому одному относящимися къ особому разряду, что при обсужденіи ихъ невозможно не принять высшій противъ обыкновеннаго умственный и нравственный уровень совершившихъ ихъ лицъ. Полиція, очевидно, затруднится. Привыкнувъ имѣть дѣло съ врагами общества, она, неслышно для самой себя, и на литературу перенесетъ это воззрѣніе; обращаясь съ фактами грубыми, конкретными, не имѣя надобности прибѣгать ни къ анализу побужденій, ни къ болѣе или менѣе тонкимъ толкованіямъ содержанія этихъ фактовъ, она тотчасъ же почувствуетъ свою несостоятельность въ отношеніи преступленій слова и постарается замѣнить ее чѣмъ-нибудь. Что̀ если она, по свойственной человѣчеству слабости, не захочетъ сознаться въ этой несостоятельности и замѣнитъ ее подозрительностью и придирчивостью?“

Очень извѣстно, что въ тѣ времена, когда цензура находилась въ рукахъ министерства просвѣщенія, литературѣ приходилось испытывать не мало крупныхъ и мелкихъ неудобствъ [1]); тѣмъ не менѣе замѣчанія Салтыкова заключали въ себѣ большую правду.

---

[1]) Извѣстно притомъ, что и въ тѣ времена въ литературныхъ дѣлахъ большое вліяніе имѣло также другое вѣдомство, именно высшая полиція; въ царствованіе императора Николая въ вопросы литературы безпрестанно вмѣшивалось III отдѣленіе Собственной Его Величества канцеляріи, а въ концѣ царствованія получили право такого вмѣшательства всѣ министерства и отдѣльныя управленія, имѣвшія своихъ особыхъ цензоровъ на тѣ случаи, когда литература касалась предметовъ ихъ вѣдомствъ.

Его представленіе о русской литературѣ не сходилось съ представленіями тѣхъ, кто думалъ, что противъ нея должны быть принимаемы усиленныя предосторожности. Напротивъ, надо желать, чтобы она получила, наконецъ, возможность говорить прямо о тѣхъ предметахъ, о которыхъ ей допущено высказываться. Салтыковъ приводитъ примѣры тогдашняго положенія.

„Извѣстно, что литература наша до сихъ поръ состоитъ подъ покровительствомъ цензуры, но, быть можетъ, не всякому извѣстно, что покровительство это заключается не столько въ расширеніи свободы печатнаго слова, сколько въ снисходительномъ огражденіи его отъ разнаго рода излишествъ. Оказывается, что въ настоящее время эту послѣднюю обязанность можетъ принять на себя само общество, которое уже достаточно созрѣло для того, чтобы различить вредныя и антисоціалистскія ученія отъ невредныхъ и соціалистскихъ [1]). Оказывается также, что цензура, какъ учрежденіе попечительное, не только ставила литературу въ условія стѣснительныя и несоотвѣтствующія ея нынѣшнему развитію, но даже не достигала и той предупредительно-полицейской цѣли, для которой она была создана. Писатели съ антисоціалистскими намѣреніями находили способъ проводить свои идеи подъ покровомъ идей соціалистскихъ; мысль скрывалась, нельзя было ничего разобрать... Мало того: мысль до такой степени сжилась съ различными покровами и изворотами, что даже откровенно приняла ихъ за единственно нормальный способъ выраженія; литература до такой степени пріучила публику читать между строками,

[1]) Салтыковъ употребляетъ здѣсь это слово въ смыслѣ „общественныхъ“, ограждающихъ общественный порядокъ.

что не было того темнаго намека, который оставался бы для нея тайною, не было полуслова, котораго бы она не прочла всѣми буквами и даже съ нѣкоторыми прибавленіями. Прохаживался ли, напримѣръ, „Русскій Вѣстникъ“ насчетъ Австріи—публика знала, что это хоть и не опечатка, однако нѣчто въ родѣ опечатки; восхвалялъ ли „Русскій Вѣстникъ“ австрійскаго министра Брука—публика понимала, что это значитъ: посмотримъ-дескать, что-то у насъ дѣлается... Одна цензура ничего не понимала, да, по строгому, добросовѣстному толкованію цензурнаго устава, и не имѣла права понимать. Если вѣрить „Русскому Вѣстнику“ и г. Громекѣ, отъ этого выигрывали только нигилисты, которыхъ рѣчь, по милости безпрерывныхъ преградъ, пріобрѣла какую-то нелишенную заманчивости таинственность и даже силу. Если вѣрить тому же „Русскому Вѣстнику“, эта сила должна сама собой уничтожиться, какъ только ей дана будетъ возможность высказаться. Тогда всякій пойметъ, что это не сила, а ложь, и всякій же получитъ средство „легко справиться съ ней безъ всякихъ карательныхъ мѣръ“. Вполнѣ раздѣляемъ такое мнѣніе „Русскаго Вѣстника“, радуемся его радостями и будемъ ожидать“.

На дѣлѣ русская литература вовсе не столь злокачественна, и дѣйствительное положеніе ея состоитъ, по Салтыкову, въ слѣдующемъ:

...„Читая слабонервныя протестаціи „Русскаго Вѣстника“, можно подумать, что и невѣсть какой ядъ заключается въ нашихъ журналахъ, что и невѣсть какою опасностью грозятъ они обществу. Если вѣрить этому, то придется, пожалуй, и усугубить „постепенность“. Но

не надо забывать, что протестаціи эти суть плодъ невиннаго желанія, какъ можно скорѣе сравняться въ „рвеніи“ съ „Нашимъ Временемъ“ [1]). Не надо забывать, что литература русская относится къ русскому правительству точно такъ же, какъ Гулливеръ къ тому великану, который гдѣ-то нашелъ его въ травѣ. „Онъ схватилъ меня, — разсказываетъ Гулливеръ, — поперекъ тѣла большимъ и указательнымъ пальцами и поднесъ къ глазамъ, чтобы ближе разсмотрѣть. Я не противился; я позволилъ себѣ только поднимать къ небу глаза и складывать руки умоляющимъ образомъ, ибо я опасался, чтобъ онъ нечаянно не раздавилъ меня“. Сравненіе не лестное, но правдивое, и при томъ способное успокоить самую раздражительную подозрительность“.

Далѣе Салтыковъ высказывается противъ того, что систему надзора и преслѣдованія печати сочли нужнымъ взять цѣликомъ изъ французскихъ учрежденій, когда нѣтъ ничего общаго между политическимъ бытомъ и литературой Россіи и Франціи. У насъ предполагались по тогдашнему проекту (и введены впослѣдствіи по уставу 1865 года) предварительныя и карательныя цензурныя мѣры и въ объясненіе этого указывалось, что даже въ странахъ, гдѣ свободныя учрежденія воспитали политическій смыслъ общества, однѣ карательныя мѣры оказались недостаточными. Далѣе, по проекту, при введеніи новыхъ цензурныхъ правилъ, именно при освобожденіи тѣхъ или другихъ изданій отъ предварительной цензуры, должна была соблюдаться постепенность, и въ особенности указывалось, что сохраненіе предварительной цен-

[1]) Реакціонная газета Н. Ф. Павлова.

зуры необходимо въ тѣхъ случаяхъ, когда періодическія изданія, дѣйствуя постепенно, образуютъ *направленіе*, котораго нельзя преслѣдовать формальнымъ образомъ, и что „газеты и журналы могутъ, въ отношеніи къ преслѣдующей власти, принять особую систему, и именно, не нарушая явно важнѣйшихъ предписаній закона, тѣмъ не менѣе выходить изъ предѣловъ дозволеннаго, утомляя силы преслѣдующей власти и связывая ее безпрерывнымъ опасеніемъ неудачи или скандала".

Салтыковъ возражаетъ противъ всѣхъ этихъ соображеній. Первый аргументъ, ссылка на другія государства, —„ложенъ въ самомъ зернѣ своемъ, потому что имѣетъ въ предметѣ указать на Францію. На это можно сказать одно: Франція, съ конца прошлаго столѣтія и до настоящаго времени, представляетъ собой страну, развивающуюся подъ вліяніемъ паническихъ восторговъ и столь же паническихъ страховъ. Если это положеніе еще и можно оспаривать относительно самой страны, то никакъ нельзя—относительно правительствъ, которыя, одно за другимъ, ее эксплуатировали. Вполнѣ свободныхъ учрежденій, свободныхъ парламентскихъ преній въ ней не было, а тѣмъ менѣе они существуютъ теперь, и отношенія нынѣшняго французскаго правительства къ странѣ слишкомъ извѣстны, чтобы допустить какое-нибудь двусмысленное въ этомъ случаѣ толкованіе. Зачѣмъ же эти вѣчныя ссылки на Францію? зачѣмъ этотъ вѣчный кошмаръ? Во Франціи такой порядокъ могъ установиться вслѣдствіе особыхъ, ей одной свойственныхъ причинъ; во Франціи, сверхъ того, порядокъ, сегодня установленный, можетъ быть завтра развѣянъ по вѣтру: что для насъ Франція? что мы для нея? Но вѣдь и тамъ все-

таки предупредительной цензуры нѣтъ, и тамъ все-таки оставлена писателямъ хотя незавидная свобода, но все-таки свобода: свобода грѣшить и подвергаться за грѣхи наказаніямъ. Отчего же не предоставить и русскимъ писателямъ этой свободы? Вѣдь русская литература все-таки не больше, какъ Гулливеръ: пускай же и наслаждалась бы свободою находиться между большимъ и указательнымъ перстами великана! Что мы, русскіе, не имѣли до сихъ поръ свободныхъ учрежденій и не пользовались парламентскими преніями—тутъ, конечно, хорошаго мало, но политическій смыслъ нашъ развѣ болѣе будетъ воспитываться, если ко всему этому мы прибавимъ еще и отсутствіе свободы печатнаго слова?"

Салтыковъ не хочетъ оспаривать предположенія о томъ, чтобы новыя правила о печати вводились постепенно. „Это правильно,—говоритъ онъ, и продолжаетъ шутя:—русская литература столько десятковъ лѣтъ притворствовала и уклонялась, что нельзя сразу дать ей возможность выложить на столъ накопившіяся въ ней сокровища, ибо легко можетъ быть, что и сокровищъ-то совсѣмъ нѣтъ. Слѣдовательно, пускай высказывается постепенно". Но онъ настоятельно заявляетъ, что какова бы ни была эта постепенность, она должна быть *равная* для всѣхъ изданій, потому что еслибы оказано было предпочтеніе какимъ-нибудь однимъ изданіямъ передъ другими, изъ этого произошла бы несправедливая привилегія, единоторжіе мысли". Онъ считалъ нужнымъ сказать объ этомъ особенно потому, что „въ послѣднее время,—говоритъ онъ,—„Современная Лѣтопись" [1]) на-

[1]) Издававшаяся Катковымъ при „Р. Вѣстникѣ" и „Моск. Вѣдомостяхъ".

чала что-то заговариваться о редакторахъ, заслуживающихъ довѣрія, и редакторахъ, довѣрія не заслуживающихъ". Онъ опасается, что эта неравномѣрность, въ какой бы формѣ она ни была предпринята, послужитъ источникомъ деморализаціи въ печати. Такъ, онъ думалъ, что подобныя слѣдствія имѣло бы предоставленіе изданіямъ *добровольно* подчиняться предварительной цензурѣ. „Во-первыхъ, не представляется надобности предлагать опеку для всѣхъ нищихъ духомъ, точно такъ же, какъ не представляется надобности въ учрежденіи какой-либо особой палаты для управленія тѣми имѣніями, которыхъ владѣльцы не умѣютъ извлечь изъ нихъ всѣхъ выгодъ. Во-вторыхъ, если издатели сочиненій этого разряда встрѣтятъ сомнѣніе въ своей благонамѣренности, то могутъ посовѣтоваться съ своими пріятелями, не затрудняя правительства. Въ-третьихъ, наконецъ, подобный легкій способъ избавляться отъ отвѣтственности можетъ породить въ литературной и издательской дѣятельности дурныя привычки. Можетъ въ литературномъ лагерѣ произойти междоусобіе, угодничество и фискальство, ибо всегда найдутся люди, охочіе заявлять о своемъ смиренствѣ, даже когда заявленія эти и не надобны никому. Все это можетъ ввести въ заблужденіе и само правительство насчетъ характера подобныхъ заявленій".

Онъ возстаетъ также противъ упомянутыхъ выше замѣчаній о такъ-называемыхъ „направленіяхъ", требующихъ будто бы особаго вниманія со стороны цензурной власти и особыхъ мѣръ преслѣдованія. Онъ полагаетъ, что подобныя соображенія были бы недостойны правительственной власти. „Мы положительно думаемъ, что правительство крѣпкое, прочно установившееся, не мо-

жетъ имѣть подобныхъ соображеній... Правительство сильное, опирающееся на сочувствіе народа, не имѣетъ надобности руководиться іезуитизмомъ: оно дѣйствуетъ открыто, то-есть открыто дозволяетъ и открыто же что-либо запрещаетъ".

Только при крайнемъ стѣсненіи литературы можно было бы говорить о чемъ-то похожемъ на дѣйствованіе посредствомъ „направленій", которое состоитъ только въ употребленіи фигуры умолчанія, въ неясныхъ намекахъ и т. п. „Но если представить себѣ русское слово освобожденнымъ отъ предварительныхъ истязаній, то всякая мысль о *направленіи*, понимаемомъ въ указанномъ выше смыслѣ, падаетъ сама собой, ибо кто же изъ читателей будетъ столь невиненъ, чтобы подписываться на журналъ, который подчуетъ его однимъ *направленіемъ*, тогда какъ рядомъ съ нимъ стоитъ другой журналъ, разсказывающій жизненный фактъ ясно и безбоязненно? Положительно можно сказать, что *направленіе* есть плодъ предупредительной цензуры, что обаятельная сила его будетъ существовать дотолѣ, покуда будетъ существовать предупредительная цензура. Мало того: сила эта будетъ существовать и въ такомъ случаѣ, если изъятіе отъ предупредительной цензуры будетъ допущено только для *извѣстныхъ* журналовъ, а другіе останутся подъ ея вліяніемъ".

Наконецъ, Салтыковъ отвѣчаетъ на тотъ аргументъ, которымъ хотѣли объяснить тогда необходимость для цензурной власти особливо преслѣдовать „направленія", будто бы ускользающія отъ правильнаго контроля. „Въ самомъ дѣлѣ, неужели наша литература имѣетъ такое громадное развитіе, что можетъ даже утомить силы преслѣ-

дующей власти? И что, наконецъ, можно подумать объ этой преслѣдующей власти, которая такъ скоро утомляется? Вѣдь нельзя же такъ жить, чтобъ все доставалось даромъ: желаете *преслѣдовать*,—ну и потрудитесь".

Опускаемъ другія подробности этой статьи. Изъ приведенныхъ примѣровъ можно достаточно видѣть взглядъ Салтыкова. Статья его остается любопытной и вѣрной картиной положенія нашей литературы въ тогдашнихъ и даже современныхъ цензурныхъ условіяхъ. Салтыковъ смотрѣлъ на вещи спокойно, и потому не поддавался преувеличеніямъ ни въ ту, ни въ другую сторону. Русская литература представлялась ему въ тѣхъ скромныхъ размѣрахъ, какіе она и въ самомъ дѣлѣ имѣла; онъ не предвидѣлъ отъ нея опасностей, которыя вынуждали бы къ экстреннымъ мѣрамъ и строгимъ преслѣдованіямъ. Онъ справедливо указывалъ, что, собственно говоря, литература была искалѣчена тѣмъ прежнимъ режимомъ, подъ которымъ она столько времени воспитывалась—она отучилась говорить прямо о вещахъ, потому что серьезные предметы, требующіе общественнаго вниманія, были для нея закрыты; но такъ какъ о нихъ не могло не думать общество, то литература тѣмъ самымъ вынуждалась прибѣгать къ условному закрытому языку, къ намекамъ, къ умолчаніямъ, аллегоріямъ и т. д., ко всему тому, въ чемъ и стали усматривать „направленіе". Это „направленіе" представлялось какою-то ехидною злонамѣренностью, противъ которой нужно было употреблять ехидныя средства. Салтыковъ съ негодованіемъ говоритъ объ этой травлѣ направленій, которая была бы дѣломъ недостойнымъ сильнаго, увѣреннаго въ себѣ правительства. Онъ совершенно справедливо говоритъ, что такого рода

„направленія“ исчезли бы сами собой, еслибы литературѣ предоставлена была возможность открыто высказывать общественное мнѣніе о тѣхъ предметахъ, которые не могли не привлекать его живѣйшаго вниманія. Съ его обычной манерой, иногда веселой шуткой, чаще желчной и горькой ироніей, онъ успокоиваетъ административные страхи, что еслибы литературѣ предоставлено было выложить всѣ свои сокровища, то, можетъ быть, ихъ бы не оказалось. Устраняя преувеличенную подозрительность, которая слишкомъ легко могла бы оканчиваться ненужнымъ вредомъ, Салтыковъ съ другой стороны негодуетъ на тѣ инсинуаціи, какія уже высказывались въ то время, напримѣръ, въ толкахъ „Русскаго Вѣстника“ о редакторахъ, довѣрія заслуживающихъ и не заслуживающихъ. Онъ желалъ для всѣхъ изданій, въ которыхъ высказывались тогда различныя стороны общественнаго мнѣнія (и всѣхъ этихъ изданій было не много), одинаковаго положенія, безъ всякихъ предпочтеній для однихъ, которыя стали бы стѣсненіемъ и несправедливостью для другихъ.

Послѣ того, какъ писалъ Салтыковъ, цензурное положеніе русской печати установилось приблизительно такъ, какъ предполагалось въ проектѣ, который онъ разбиралъ: цензура была двоякая, предварительная и карательная; введена была именно система денежныхъ залоговъ, предостереженій, пріостановокъ и запрещеній, заимствованная изъ тѣхъ самыхъ французскихъ пріемовъ второй имперіи; введены были кромѣ того судебныя преслѣдованія преступленій по дѣламъ печати и т. д. То, что̀ предвидѣлъ Салтыковъ, исполнилось въ дѣйствительности. Сложная система надзора уже вскорѣ была по

русскимъ нравамъ упрощена; оказалась привычная подозрительность и то вліяніе характера вѣдомства, завѣдывавшаго теперь печатью, которыя Салтыковъ предполагалъ: вопросы литературы и науки слишкомъ часто разбирались не столько съ точки зрѣнія литературы и науки, сколько съ точки зрѣнія предупрежденія и пресѣченія преступленій, и съ тѣмъ пониманіемъ вопросовъ науки, какое возможно въ вѣдомствѣ отъ нея далекомъ... Въ самомъ дѣлѣ, оглянувшись теперь на протекшее двадцатипятилѣтіе новаго цензурнаго положенія русской литературы, нельзя не придти къ довольно печальнымъ размышленіямъ. Наша публицистическая печать, взятая въ цѣломъ, была безъ сомнѣнія тѣмъ скромнымъ явленіемъ, какимъ предполагалъ ее Салтыковъ; если собрать примѣры тѣхъ ея излишествъ, доказательствъ „вреднаго направленія“ и т. п., за которыя она подвергалась многоразличнымъ карамъ административнымъ и судебнымъ, и если собрать примѣры преслѣдованія сочиненій по предметамъ чисто литературнымъ и научнымъ, то не можетъ не броситься въ глаза чрезмѣрная недовѣрчивость, порождавшая эти факты.

Въ той же книжкѣ Салтыковъ началъ рядъ публицистическихъ статей подъ названіемъ, „Наша общественная жизнь“. Тонъ съ самаго начала шутливый, но, какъ обыкновенно, при небольшомъ вниманіи не трудно увидѣть въ шуткѣ мысль совершенно серьезную. Это была первая публицистическая статья журнала, касавшаяся тогдашнихъ общественныхъ вопросовъ, съ тѣхъ поръ какъ журналъ былъ закрытъ въ 1862 году. Это было

время, когда по разнымъ общимъ и случайнымъ обстоятельствамъ въ обществѣ оказалось извѣстное броженіе, не совсѣмъ привычное въ русской жизни—студенческія волненія, появленіе политическихъ листковъ, распространеніе запрещенныхъ изданій и т. п.; лѣтомъ 1862 года произошли петербургскіе пожары, причина которыхъ осталась невыясненной, и явились охотники приписать ихъ какимъ-то революціоннымъ агитаторамъ; кстати явился романъ Тургенева съ характеристикой молодого поколѣнія и „нигилизма“; наконецъ, начинались польскія волненія—и изъ всего этого вмѣстѣ образовалась еще невиданная путаница фактовъ и толковъ, которую не замедлила эксплуатировать реакціонная доля общества: послѣдней удобно было объяснять всѣ эти происшествія какъ результатъ вреднаго вліянія реформъ и либеральныхъ попущеній правительства. Собственно говоря, происходившіе факты не были правильно изслѣдованы и безпристрастно поняты (ни тогда, ни послѣ); журналъ, пытавшійся дать отчасти ихъ объясненіе, подвергся запрещенію; свободно распространялись реакціонные толки и огульныя обвиненія противъ „нигилизма“ и противъ „мальчишекъ“. Было много людей, которымъ это положеніе вещей было на руку: это были или старые крѣпостники, до сихъ поръ скрывавшіе свою вражду къ новымъ либеральнымъ преобразованіямъ и теперь съ торжествомъ призывавшіе къ старому порядку, или вчерашніе либералы, находившіе, что по времени выгоднѣе вступить на другую дорогу... Правительство, въ общемъ, не дало устрашить себя реакціонными воплями, и задуманныя реформы продолжали выработываться; но были факты, гдѣ и оно отчасти было увлечено происходив-

шимъ недоразумѣніемъ, и, къ сожалѣнію, упомянутые сейчасъ реакціонные дѣятели, прежніе и новѣйшіе, имѣли случай выставлять себя какъ бы полуоффиціальными публицистами.

Въ этихъ условіяхъ Салтыковъ началъ свои публицистическія бесѣды. Если не ошибаемся, это были его первыя бесѣды подобнаго рода, по изложенію вообще довольно близкія къ его беллетристической манерѣ, а по содержанію составляющія какъ бы начало тѣхъ его произведеній, въ которыхъ онъ изображалъ русскую послѣреформенную жизнь, общество временъ поворота или реакціи. Темы, на которыхъ онъ останавливается въ этой первой статьѣ, состоятъ именно въ изображеніи тогдашняго настроенія общества, гдѣ шли толки о „нигилизмѣ“ и „мальчишкахъ“ и появлялись уже опыты того, что̀ онъ называлъ эквилибристикой.

Онъ начинаетъ статью объясненіемъ, что будетъ говорить не о собственно петербургской жизни „съ ея огорченіями и увеселеніями“, а объ общемъ характерѣ русской общественности—„въ ея постепенномъ и неторопливомъ стремленіи къ идеаламъ“. Петербургскій читатель знаетъ петербургскія новости, можетъ быть, лучше самого автора; читатель провинціальный къ нимъ совершенно равнодушенъ, но онъ жаждетъ уловить господствующую ноту нашей общественности, и объ этомъ собирается говорить авторъ. На первый разъ онъ думаетъ, что долженъ отвѣтить на вопросъ, который, вѣроятно, ему предложитъ читатель, взявъ въ руки книжку возобновленнаго журнала. „Очистились ли мы постомъ и покаяніемъ?“

„Что постъ былъ—это достовѣрно, въ этомъ въ осо-

бенности убѣдилась сама редакція „Современника“. Не то, чтобы идея поста была совершенно противна „Современнику“, но, конечно, было бы желательно, чтобы сроки воздержанія были назначаемы нѣсколько менѣе щедрою рукой. Это тѣмъ болѣе желательно, что было бы вполнѣ согласно и съ подлежащими постановленіями, которыя нигдѣ не заповѣдали, чтобы постъ продолжался восемь мѣсяцевъ. Будемъ надѣяться, что это случилось нечаянно и что, съ обнародованіемъ новыхъ законовъ о книгопечатаніи, будутъ изысканы иныя, болѣе пріятныя и не менѣе полезныя мѣропріятія“...

Что касается до вопроса о покаяніи, то на него авторъ надѣется отвѣтить въ теченіе года. Во всякомъ случаѣ мы обѣщаемся быть благонамѣренными,—говоритъ онъ:—къ этому побуждаетъ и желаніе бесѣдовать съ читателемъ десять, а не пять разъ въ году, и современное настроеніе русскаго общества, и разныя другія обстоятельства. Тема „благонамѣренности“, на которой Салтыковъ много разъ останавливался въ своихъ старыхъ и послѣднихъ произведеніяхъ, трактована здѣсь въ обычномъ ироническомъ тонѣ, который могъ бы иной разъ показаться преувеличеніемъ или каррикатурой, еслибы на это не давали ему права безчисленные примѣры пошлости, совершавшіеся въ обществѣ.

„Но прежде всего я обязанъ опредѣлить, что̀ такое благонамѣренность. Признаюсь откровенно, обязанность эта застаетъ меня нѣсколько въ расплохъ, ибо слово это произошло на свѣтъ такъ недавно, что даже значеніе его не вполнѣ опредѣлилось. Толкуютъ его больше фигурами и уподобленіями. Такъ, напримѣръ, если я вижу человѣка, участвующаго своими трудами въ „Сѣверной

Пчелѣ", въ „Нашемъ Времени", въ „Сѣверной Почтѣ",— я говорю себѣ: это человѣкъ благонамѣренный. Если я вижу человѣка, посѣщающаго балы гг. Марцинкевича, Заллера, Наумова и другихъ,—я говорю себѣ: это человѣкъ благонамѣренный. Почему я такъ говорю,—я не знаю, но чувствую, что говорю правду, и всякій, кто слышитъ меня говорящимъ такимъ образомъ, также чувствуетъ, что я говорю правду. Совсѣмъ другое дѣло, если я вижу человѣка, таинственно пробирающагося въ редакцію газеты „Голосъ"; тутъ я прямо говорю себѣ: нѣтъ, это человѣкъ неблагонамѣренный, ибо въ немъ засѣлъ Ледрю-Ролленъ. И напрасно Андрей Александровичъ Краевскій будетъ увѣрять меня, что Ледрю-Ролленъ былъ, да весь вышелъ, — я не повѣрю ему ни за что, ибо знаю стойкость убѣжденій Андрея Александрыча и очень помню, какъ онъ, еще въ 1848 году, боролся съ Луи-Филиппомъ и радовался паденію царства буржуазіи".

„Но отвратимъ наши взоры отъ этого печальнаго зрѣлища и будемъ продолжать фигуры и уподобленія".

Прежде всего благонамѣренный человѣкъ долженъ обладать хорошимъ поведеніемъ, которое состоитъ въ слѣдующемъ: утромъ благонамѣренный человѣкъ встаетъ и читаетъ „Сѣверную Почту"; насладившись ея чтеніемъ и узнавъ сверхъ того, „въ чемъ должна заключаться сегодняшняя благонамѣренность", онъ бесѣдуетъ съ г. Старчевскимъ (тогдашнимъ издателемъ „Сына Отечества"), затѣмъ, „подъ вліяніемъ этой бесѣды, благонамѣренный заходитъ къ Доминику, гдѣ съѣдаетъ три пирожка, а буфетчику сказываетъ, что съѣлъ одинъ. Затѣмъ до обѣда онъ гуляетъ по Невскому, потомъ

обѣдаетъ въ долгъ у Дюссо, а вечеромъ отправляется въ Михайловскій театръ, и день оканчивается блистательнымъ образомъ на балѣ у безземельныхъ, но гостепріимныхъ принцессъ вольнаго города Гамбурга".

Можетъ показаться непонятнымъ, какимъ образомъ въ подобныхъ дѣйствіяхъ можетъ оказаться благонамѣренность; но авторъ объясняетъ, что, „сколько онъ могъ понять изъ объясненій людей свѣдущихъ", это слово имѣетъ весьма ограниченный и спеціальный смыслъ: человѣкъ, который желаетъ стать въ ряды благонамѣренныхъ, можетъ заимствовать платки изъ чужихъ кармановъ, можетъ читать „Сына Отечества", но только обязывается имѣть „хорошій образъ мыслей". Что такое этотъ хорошій образъ мыслей, авторъ отзывается, что не умѣетъ этого объяснить, „потому что это выраженіе скорѣе чувствуется, нежели понимается"; тѣмъ не менѣе, говоритъ онъ, если судьба заставитъ васъ потолкаться нѣкоторое время между людьми благонамѣренными, то вы поймете, что отличительный признакъ хорошаго образа мыслей есть невинность. „Невинность же, съ своей стороны, есть отчасти отсутствіе всякаго образа мыслей, отчасти же отсутствіе того смысла, который даетъ возможность различить добро отъ зла. Любите отечество и читайте романы Поль-де-Кока—вотъ краткій и незамысловатый кодексъ житейской мудрости, которымъ руководствуется современный благонамѣренный человѣкъ. И благо ему. Если онъ утаилъ о двухъ излишне съѣденныхъ пирожкахъ, то это простится ему, потому что отъ этого нѣтъ ущерба ни любви къ отечеству, ни общественному благоустройству". Надо только не увлекаться. „Если же вамъ непремѣнно нужно мыслить, то бесѣдуйте съ „Сы-

номъ Отечества", ибо мысли, порождаемыя этими бесѣдами, не суть мысли, но тѣлесныя упражненія"...

„Такимъ образомъ, съ помощью фигуръ и уподобленій, мы догадываемся, наконецъ, что̀ такое этотъ „хорошій образъ мыслей", который, въ послѣднее время, пустилъ такіе сильные корни въ нашемъ обществѣ. Сидите ли вы въ театрѣ, идете ли по улицѣ,—вы на каждомъ шагу встрѣчаете людей, которыхъ наружность ничего иного не выражаетъ, кромѣ того, что ихъ отлично кормятъ. Тутъ не можетъ быть рѣчи объ убѣжденіяхъ, а тѣмъ менѣе о недовольствѣ кѣмъ и чѣмъ бы то ни было: въ этихъ ходячихъ могилахъ все покончено, все затихло. Самый добродушный изъ нихъ на ваши приставанья отвѣтитъ: mon cher! qui est-ce qui en parle! но менѣе добродушный фыркнетъ и огрызнется, какъ песъ, къ которому неосторожно подойдутъ въ то время, когда онъ ѣстъ. Слѣдовательно, благонамѣренность не исключаетъ и нѣкотораго остервенѣнія, которое и составляетъ третью характеристическую черту ея".

Авторъ недоумѣвалъ о причинахъ этого остервенѣнія и „благонамѣренной плотоядности". Мы, слава Богу, не испытали политическихъ потрясеній, никакихъ утопій, ни въ чемъ не разочаровывались (да и очаровывались ли когда-нибудь?), между тѣмъ насъ, гибнущихъ плавателей, соблазняетъ какая-то сирена своимъ пѣніемъ. „Многіе даже видѣли ее и увѣряютъ, что она ходитъ въ вицъ-мундирѣ".

„Увы! пѣніе сирены отразилось даже на литературѣ нашей. Изъ загнанной и трепещущей она превратилась въ торжествующую и ликующую, изъ скептической въ вѣрующую, изъ заподозрѣнной въ благонамѣренную и

достойную довѣрія. Дѣятели, цѣлую жизнь дразнившіе и ускавшіе общественное мнѣніе, всенародно бьютъ себя въ грудь, всенародно раздираютъ на себѣ одежды и признаютъ себя удовлетворенными. „Мальчишки!“ стонетъ на всѣ лады одинъ; „нигилисты!“ подвизгиваетъ ему другой. И хотя это обвиненіе есть единственное, которое успѣла ясно сформировать кающаяся русская литература, но, вѣроятно, оно признается достаточно капитальнымъ, если журналы серьезные и повидимому благонамѣренные рѣшаются настаивать на немъ“.

Судя по тому переполоху, какой господствовалъ въ литературѣ до 1862 года, говоритъ Салтыковъ, провинціальный читатель могъ и невѣсть что̀ подумать. „Ему могло показаться, что старому веселью конецъ пришелъ, что хорошихъ людей моль поѣла и что на мѣстѣ ихъ неистовствуютъ все мальчишки да нигилисты... Ничуть не бывало! утѣшаю я его; все это было до 1862 года, но въ этомъ году россіяне вступили въ новое тысячелѣтіе... Какъ же тутъ не созрѣть, какъ не пойти въ сѣмена!“

Такимъ образомъ благонамѣренность заключается въ ненависти къ нигилистамъ и мальчишкамъ, и Салтыковъ разбираетъ, что̀ это за новое явленіе.

Его разсужденіе есть главнымъ образомъ характеристика того, что̀ говорилось въ печати, особливо въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, который въ то время занялъ главную роль въ травлѣ на молодое поколѣніе и служилъ образцомъ для мелкой печати, предавшейся тогда тому же занятію. Эта травля самымъ глубокимъ образомъ возмущала Салтыкова. Огульныя обвиненія всегда ненавистны, потому что всегда бываютъ несправедливы;

онѣ были особенно возмутительны въ данномъ случаѣ по разнымъ условіямъ. Прежде всего обвиненія бросались на вѣтеръ; отдѣльные факты, не имѣвшіе между собой ничего общаго ни фактически, ни по смыслу, обобщались въ обвиненіе противъ цѣлыхъ массъ людей и противъ цѣлыхъ отдѣловъ тогдашней литературы. Во-вторыхъ, обвиненія самыя злобныя дѣлались въ такой обобщенной формѣ, что на нихъ трудно и некому было отвѣчать, между тѣмъ подозрѣніе и вражда были заброшены. Въ-третьихъ, то броженіе, которое реакціонная литература обозначала теперь огуломъ подъ именемъ нигилизма, заключало въ себѣ между прочимъ и тѣ самыя идеи, какія еще недавно были въ общемъ ходу и съ особенною настойчивостью распространялись самимъ „Русскимъ Вѣстникомъ“. Все это вмѣстѣ производило вдвойнѣ отталкивающее впечатлѣніе и какъ доносъ, сопровождающійся крайнею затруднительностью или даже невозможностью отвѣта, и какъ фактъ ренегатства. Но вопросъ былъ настоятельный,—всѣ объ этомъ говорили, и въ нашемъ обществѣ, которое вовсе не было пріучено и не умѣло разбираться въ сколько-нибудь сложныхъ общественныхъ положеніяхъ, это становилось источникомъ крайней и вредной путаницы понятій, вредной потому именно, что подъ готовыя, такъ сказать, уличныя клички люди мало развитые подкладывали безъ разбора все, и дурное, а вмѣстѣ и хорошее, случайное и естественное, и то, что̀ общество могло и должно было отвергнуть, и то, чѣмъ оно должно было дорожить. Салтыковъ поэтому и счелъ нужнымъ говорить. Какъ обыкновенно, тонъ его есть на половину шутка, на половину иронія, изъ которыхъ не трудно было бы извлечь и весьма серьезное поученіе,—

если бы искали правды, а не пищи для озлобленія или своекорыстія.

„Слово „нигилисты“ пущено въ ходъ И. С. Тургеневымъ и не обозначаетъ собственно ничего. Въ романѣ г. Тургенева, какъ и во всякомъ благоустроенномъ обществѣ, дѣйствуютъ отцы и дѣти. Если есть отцы, слѣдовательно должны быть и дѣти — это бы, пожалуй, не новость; новость заключается въ томъ, что дѣти не въ отцовъ вышли, и вслѣдствіе этого происходятъ между ними безпрестанные реприманды.

„Отцы—народъ чувствительный и вѣруютъ во все. Они вѣруютъ и въ красоту, и въ истину, и въ справедливость, но больше прохаживаются по части красоты. Они проливаютъ слезы, читая Шиллерову „Resignation“, они играютъ на віолончели, а отчасти и на гитарѣ, но не остаются нечувствительными и къ четвертакамъ... Когда-то они были друзьями Бѣлинскаго и поклонниками Грановскаго, но, по смерти своихъ руководителей, остались какъ овцы безъ пастыря. Очарованія ихъ приняли характеръ безпорядочный, почти растрепанный; съ одной стороны—Laura am Clavier, съ другой—тысяча рублей содержанія, даровая квартира и нѣсколько пудовъ сальныхъ свѣчей—вотъ двѣ мучительныя альтернативы, между которыми проходитъ ихъ жизнь. Тѣмъ не менѣе, надо отдать имъ справедливость: Лаура съ каждымъ днемъ все дальше и дальше отодвигается на задній планъ, и все ближе и ближе придвигается тысяча рублей содержанія. Способность очаровываться осталась та же, но предметъ ея измѣнился, и измѣнился потому, что нѣтъ въ живыхъ ни Бѣлинскаго, ни Грановскаго. Будь они живы, они, конечно, сказали бы „отцамъ“: цыцъ! и тогда

кто можетъ угадать, чѣмъ увлекались бы въ настоящую минуту эти юные старцы?

„Въ противоположность отцамъ, дѣти представляютъ собой собраніе невѣрующихъ“.

Пересчитавши разные примѣры отрицанія, которымъ заражены дѣти, по роману Тургенева, Салтыковъ продолжаетъ: „Спрашиваю я васъ, какъ назвать совокупность всѣхъ этихъ зловредныхъ качествъ? какъ назвать людей, совокупившихъ въ себѣ эти качества? Я знаю, госпожа Коробочка назвала бы ихъ фармазонами, полковникъ Скалозубъ назвалъ бы волтерьянцами; но И. С. Тургеневъ не захотѣлъ быть подражателемъ и назвалъ нигилистами...

„Какъ бы то ни было, но „благонамѣренные“ накинулись на слово „нигилистъ“ съ ожесточеніемъ; точь въ точь, какъ благонамѣренные прежнихъ временъ накидывались на слова фармазонъ и вольтерьянецъ. Слово „нигилистъ“ вывело ихъ изъ величайшаго затрудненія. Были понятія, были явленія, которыя они до тѣхъ поръ затруднялись какъ назвать, теперь этихъ затрудненій не существуетъ: все это нигилисты; были люди, которыхъ физіономіи имъ не нравились, которыхъ рѣчи производили въ нихъ нервное раздраженіе, но они не могли дать себѣ отчета, почему именно эти люди, эти рѣчи производятъ на нихъ именно такое дѣйствіе; теперь все сдѣлалось ясно: да потому просто, что эти люди нигилисты! Такимъ образомъ нигилистъ, не обозначая собственно ничего, прикрываетъ собой всякую обвинительную чепуху, какая взбредетъ въ голову благонамѣренному, и еслибъ Иванъ Никифорычъ Довгочхунъ зналъ, что существуетъ на свѣтѣ такое слово, то онъ, навѣр-

ное, назвалъ бы Ивана Иваныча Перепелкина не дурнемъ съ писанною торбою, а нигилистомъ. Человѣкъ, который ходитъ по улицѣ безъ перчатокъ — нигилистъ, и человѣкъ, который заявитъ сомнѣніе насчетъ либерализма Василья Александрыча Кокорева—тоже нигилистъ. Онъ нигилистъ! онъ не вѣритъ ни во что святое! вопятъ благонамѣренные, и само собою разумѣется, что Василію Александрычу это нравится. Однимъ словомъ, нигилистъ есть человѣкъ, безпрерывно испускающій изъ себя какой-то тонкій ядъ, отъ котораго мгновенно дурѣютъ слабыя головы мальчишекъ!“

Салтыковъ припоминаетъ тѣ азартныя обвиненія, какія сыпались на нигилистовъ въ 1862 году. „Нигилисты обязаны выносить на себѣ всѣ грѣхи міра сего. Тявкнетъ ли на улицѣ шавка—благонамѣренные кричатъ: это нигилисты подъучили ее; пойдетъ ли безъ времени дождь, благонамѣренные кричатъ: это нигилисты заговариваютъ стихіи! Этого мало: лѣтомъ 1862 года по случаю частыхъ пожаровъ въ Петербургѣ ходили слухи о поджогахъ—благонамѣренные воспользовались этимъ, чтобы обвинить нигилистовъ; образовалась какая-то неслыханная потаенная литература — благонамѣренные возопили: это они! это нигилисты! Злорадство дошло до такой степени безобразія и нелѣпости, что благонамѣренные готовы были, чтобы у нихъ поснимали головы, лишь бы имѣть право сказать: это они! это нигилисты!

„Вотъ какую страшную услугу оказалъ Тургеневъ“.

Не меньше раздражало Салтыкова другое изобрѣтенное тогда слово: „мальчишки“, пущенное въ ходъ „Русскимъ Вѣстникомъ“. Нигилистомъ, говоритъ Салтыковъ, можетъ быть человѣкъ всякаго возраста. „Напротивъ

того, слово „мальчишки“, такъ сказать, подрываетъ будущее Россіи, ибо обращается преимущественно къ молодому поколѣнію, на которомъ, какъ извѣстно, покоятся всѣ надежды любезнаго отечества. Подъ этимъ словомъ подразумѣвается все, что̀ не перестало еще расти; М. Н. Катковъ взираетъ на П. М. Леонтьева и говоритъ: вотъ мѣра человѣческаго роста! и затѣмъ всякій индивидуумъ, который имѣлъ несчастіе родиться двумя минутами позднѣе г. Леонтьева, поступаетъ въ разрядъ мальчишекъ. Не хитро, но зато просто и удобно“.

Мальчишество состоитъ въ сущности въ томъ же, въ чемъ и нигилизмъ—въ отсутствіи всякой нравственности. Мальчишки не вѣрятъ въ науку—потому что не читаютъ статей г. Молинари, объясняетъ Салтыковъ; это—„пустые и безмозглые крикуны“, по словамъ одного изъ тогдашнихъ благонамѣренныхъ изданій; они не могутъ серьезно думать, не смѣютъ ни о чемъ имѣть свое сужденіе, потому что они мальчишки.

„Мальчишество—это преступленіе, за которое уличенный въ немъ лишается даже права апеллировать. Благонамѣренный не станетъ и разговаривать съ мальчишкой; „это мальчишка“, скажетъ онъ и самодовольно пройдетъ себѣ мимо...

„Да, горько родиться „мальчишкой“, но какъ же, съ другой стороны, и не родиться-то имъ?“

Всякій имѣлъ свой періодъ мальчишества; только не всякій это помнитъ. „Иной забылъ, что онъ не далѣе какъ въ 1861 г. былъ еще мальчишкой“; иной и не скрываетъ, что онъ забылъ, и готовъ снова сдѣлаться мальчишкой, если это будетъ обѣщать какую-нибудь поживу. Авторъ не обращается къ людямъ такого рода.

„Я обращаюсь къ людямъ просто забывчивымъ и спрашиваю: неужели вы въ самомъ дѣлѣ забыли? неужели вы дошли до состоянія опрѣсноковъ безъ всякихъ тревогъ, безъ всякой борьбы? неужели вы не метались и не кипѣли? неужели сошли на путь благонамѣренности такъ же случайно и безразлично, какъ заходятъ современные франты въ тотъ или другой танцклассъ? Нѣтъ, это невѣроятно. Это невѣроятно, потому что нѣтъ того человѣка, котораго заплесневѣлая душа не умилилась бы передъ воспоминаніемъ о давно прошедшихъ, сладкихъ дняхъ молодости; нѣтъ того дряхлаго, тупого старика, котораго голова не затряслась бы сочувственно, котораго морщины не освѣтились бы лучомъ радости, когда на него хоть на мгновенье, хотя случайно пахнетъ свѣжимъ ароматомъ навсегда утраченной весны жизни“.

Салтыковъ предупреждаетъ читателя, что онъ вовсе не думаетъ обращаться къ людямъ благонамѣреннымъ, чтобы напомнить, что и они были молоды и заблуждались, и чтобы получить отъ нихъ снисхожденіе молодости и заблужденію другихъ.

„Нѣтъ, я не прошу для мальчишекъ ни сожалѣнія, ни даже снисхожденія. Я нахожу, что мальчишество—сила, а сословіе мальчишекъ—очень почтенное сословіе. Самая остервенѣлость вражды противъ нихъ свидѣтельствуетъ, что къ мальчишкамъ слѣдуетъ относиться серьезно, и что слова: „мальчишки!“, „нигилисты!“, которыми благонамѣренные люди вѣнчаютъ всѣ свои диспуты, по поводу почтительно дѣлаемыхъ мальчишками представленій и домогательствъ, въ сущности изображаютъ не что̀ иное, какъ худо-скрытую досаду, нѣчто въ родѣ плача Адама объ утраченномъ раѣ“. Если въ послѣднее время среди

давящей насъ тяжести чувствуется нѣчто оживляющее и освѣжающее, то какъ ни малъ успѣхъ, источникъ его находится все-таки не въ насъ, благонамѣренныхъ, а въ этой силѣ молодости.

„Я могъ бы привести тысячи примѣровъ изъ практики въ доказательство справедливости моего положенія, и если не дѣлаю этого, то единственно изъ опасенія, чтобъ изъ того не вышло какой-нибудь нелитературной полемики. Дозволю себѣ одинъ казенный вопросъ: давно ли называлось мальчишествомъ, карбонарствомъ, волтерьянствомъ все то добро, которое нынѣ въ очію совершается? И нельзя ли отсюда придти къ заключенію, что и то, что̀ нынѣ называется мальчишествомъ, нигилизмомъ и другими, болѣе или менѣе поносительными именами, будетъ *когда-нибудь* называться добромъ?“

Въ третьей книжкѣ „Современника“ 1863 года было опять помѣщено нѣсколько статей Салтыкова. Въ статьѣ: „Наша общественная жизнь“, онъ возвращается съ другой стороны къ опредѣленію тогдашняго общественнаго положенія, проявленія котораго ему оставалось отмѣчать въ журналистикѣ. Мы видѣли, что данная минута не оставляла въ немъ сомнѣній относительно своего характера: было ясно, что тотъ кратковременный періодъ, когда общество подъ вліяніемъ совершавшейся реформы исполнено было самыхъ свѣтлыхъ надеждъ, уже кончился. Правда, реформы еще не были завершены: продолжались работы надъ другими преобразованіями (суды, земство, печать), но чувствовалось, что время одушевленія прошло, что наступалъ другой тонъ жизни или, говоря иначе, возвращался прежній, до-реформенный. Это

послѣднее обстоятельство тотчасъ отразилось на литературѣ. Таковъ былъ, напримѣръ, отмѣченный Салтыковымъ поворотъ, который внезапно совершился въ руководящемъ московскомъ журналѣ, да и въ другихъ изданіяхъ, желавшихъ высказывать мнимое общественное мнѣніе.

Теперь Салтыковъ хотѣлъ-было „объяснить читателямъ, отчего въ современномъ человѣкѣ происходитъ нѣкоторое нравственное распаденіе, отчего онъ обязывается балансировать, отчего никуда не можетъ примкнуть съ увѣренностью, что тутъ именно сила“, но въ данную минуту онъ не находитъ удобнымъ исполнить это обѣщаніе. Чтобъ исполнить это какъ слѣдуетъ, онъ долженъ былъ бы указать, что „силы дѣйствительно нѣтъ нигдѣ и, разумѣется, въ этомъ отсутствіи силы преимущественно обвинить мальчишество, какъ такую корпорацію, которая одна и можетъ заключать въ себѣ залоги дѣйствительной силы“. При этомъ, можетъ быть, онъ долженъ былъ бы сдѣлать мальчишеству выговоръ, преподать наставленіе, но его останавливаетъ мысль, что мальчишеству и безъ того дѣлаются выговоры; притомъ его выговоры, быть можетъ, не имѣютъ общаго съ тѣми, какіе дѣлаются другими, „а если не имѣютъ, какъ я и подозрѣваю, то съ какой же стати я стану производить гибельное двоегласіе въ впечатлительныхъ юношескихъ умахъ? Нѣтъ, лучше я воздержусь, и это тѣмъ легче для меня сдѣлать, что никто меня и не пуститъ“.

Данная минута представляется Салтыкову ликвидаціей.

„Говорить о прошломъ въ ту минуту, когда оно, такъ сказать, ликвидируется, не значитъ ли только заниматься праздными словами? Вѣдь тутъ разсчетъ ясенъ: что̀ есть въ печи, все на столъ мечи! и еще: каждому

по дѣламъ его — ну, и дѣло съ концомъ. Тутъ не поможешь ни оханьями, ни стонами, ни совѣтами, въ родѣ: кабы ты чуточку-чуточку влѣво забралъ—ну, и уцѣлѣла бы твоя голова! Нѣтъ, тутъ этимъ не поможешь! Другое дѣло, поговорить о прошломъ въ видахъ назиданія будущаго... это иногда полезно бываетъ. Но вѣдь это тогда только полезно и возможно, когда имѣется въ виду совершенная ясность духа, когда въ сердцѣ царитъ безмятежіе, а какая же можетъ быть ясность, какое безмятежіе въ минуты ликвидаціи!

„Слѣдовательно, этотъ разговоръ я отложу до болѣе благопріятной минуты, тѣмъ болѣе, что мудрецомъ быть во всякое время пріятно и не подозрительно“.

Очевидно, Салтыковъ не считалъ возможнымъ говорить о положеніи вещей яснѣе. Онъ предпочитаетъ говорить о „той вѣчно-милой средѣ, которая выговорамъ не подвергается и наставленій не получаетъ“, и вслѣдъ за тѣмъ рисуетъ картину нашей общественной жизни— точно какой-то не настоящей, а картонной: такою казалась ему эта жизнь въ началѣ шестидесятыхъ годовъ.

„Часто приходитъ мнѣ на мысль, что всѣ мы, сколько насъ ни есть, живемъ и дѣйствуемъ на какихъ-то безконечно-обширныхъ театральныхъ подмосткахъ, которые почему-то называемъ ареною жизни; что надъ нами стелется холстинное небо, освѣщаемое промасленнымъ бумажнымъ кругомъ, сквозь который тускло свѣтится мерцаніе стеариноваго огарка; что вокругъ насъ простираются холстинные лѣса, разстилаются холстинные луга, ходуномъ ходятъ холстинныя волны; что хотя на насъ падаетъ снѣгъ и дождь, но снѣгъ этотъ бумажный, дождь шнурковый; что мы питаемся картонными кушаньями,

пьемъ примѣрное вино, воюемъ картонными копьями и произносимъ картонныя рѣчи.

„И чѣмъ болѣе я углубляюсь въ эту мысль, тѣмъ больше убѣждаюсь, что она совсѣмъ не заключаетъ въ себѣ парадокса. Не знаю, отъ того ли, что жизнь положительно сошла съ прежней наѣзженной колеи, отъ того ли, что, сошедши съ этой колеи, она не успѣла еще наѣздить себѣ колеи новой, но всѣ мы находимся въ томъ странномъ положеніи, въ какое добровольно поставила себя редакція журнала „Время“: всѣ мы сидимъ между двухъ стульевъ, и то-и-дѣло шлепаемся на полъ“.

Онъ сравниваетъ то время съ тѣмъ возрастомъ, который непосредственно слѣдуетъ за отрочествомъ: это нѣчто неясное, и вмѣстѣ смѣшное и горькое, въ которомъ утрачены всѣ правдивые тоны жизни и еще ничего не пріобрѣтено. Исчезла безвозвратно отроческая впечатлительность и наивность и на ихъ мѣсто является фальшивая восторженность, дѣланныя мысли, что-то чужое, непонятое.

„Давно ли казалось намъ, что жизнь наша полнымъ ключомъ кипитъ, какъ уже мы убѣдились, что это ключъ не взаправду ключъ, а ключъ театральный; давно ли казалось намъ, что вокругъ насъ произносятся новые вопросы, возстаетъ цѣлая новая обстановка, какъ мы уже убѣдились, что это вопросы картонные, обстановка картонная. Давно ли мы бѣжали, стремились, шумѣли, рукоплескали, а теперь плодомъ всей этой суеты передъ нами стоитъ, въ обидной наготѣ, вопросъ: куда стремились, чему рукоплескали? Да, именно только этотъ вопросъ и остался“.

Хуже всего то, что картонная жизнь производитъ картонную литературу; жизнь по крайней мѣрѣ забывается, но литература остается „вѣчнымъ монументомъ извѣстнаго строя жизни“. Признаки этой литературы— „совершенное отсутствіе содержанія и полное безплодіе, прикрываемое благородными чувствами“. „Если дѣйствительная жизнь ускользаетъ отъ нашего пониманія, если идеалы намъ не даются, если мы до того поражены повальною неспособностью, что не знаемъ даже, за что намъ уцѣпиться, къ чему устремить нашу жажду подвиговъ, то очень ясно, что для насъ можетъ быть доступна только одна сфера дѣятельности,—это та сфера, въ которой всѣ пути давно изборождены рутиной, та сфера, въ которой всѣ званые, а нѣтъ избранныхъ, та сфера, наконецъ, которой неприхотливое и скудное содержаніе, не измѣняясь въ своей сущности, только мѣняетъ цвѣта, только сгущается или разжижается, смотря по тону, задаваемому извнѣ“.

Въ самомъ дѣлѣ, если наша литература всегда отличалась обиліемъ безсодержательныхъ произведеній, творцы которыхъ думали, что обогащаютъ словесность благородными мыслями, то въ тѣ годы литература этого рода стала если не обильнѣе, то еще притязательнѣе, чѣмъ прежде. Въ ту минуту, когда въ общественной жизни возникало движеніе, поднимавшее, повидимому, самые широкіе вопросы и дѣйствительно возбуждавшее умы людей съ живыми общественными интересами, въ эту минуту литература подобныхъ хорошихъ мыслей и благородныхъ чувствъ, но въ сущности безхарактерная, безсодержательная, могла въ особенности дѣйствовать раздражающимъ образомъ на людей, какъ Салтыковъ. Такъ

или иначе, но въ жизни ставились опредѣленные вопросы; на нихъ надо было отвѣчать *да* или *нѣтъ*; люди, обращавшіеся тогда къ публикѣ, должны были потрудиться составить себѣ какой-нибудь опредѣленный взглядъ, а вмѣсто того являлись какія-то неясныя, половинчатыя мысли, не говорившія собственно ничего, но сыпавшія громкими фразами. Однимъ изъ знаменитыхъ образчиковъ литературы подобнаго рода была извѣстная тогда комедія графа Соллогуба: „Чиновникъ"; являлось за тѣмъ множество повѣстей, разсказовъ, драматическихъ пьесъ, между прочимъ принадлежавшихъ даже извѣстнымъ писателямъ, гдѣ, подъ вліяніемъ конца 50-хъ годовъ, дѣлались попытки затрогивать общественные вопросы; но затрогивались они мелко, неумѣло или просто фальшиво, потому что сами авторы не отдавали себѣ отчета въ томъ, что̀ значатъ эти вопросы. Эту литературу настойчиво преслѣдовалъ Добролюбовъ; не выносилъ ея и Салтыковъ.

Со свойственною ему оригинальностью мыслей и образовъ, Салтыковъ такъ характеризуетъ эту литературу.

„Что благородство чувствъ есть одинъ изъ самыхъ сильно дѣйствующихъ *ядовъ* нашей литературы — это я совсѣмъ не шутя говорю. Дѣло въ томъ, что благородныя чувства и хорошія мысли грозятъ затопить русскую литературу, по крайней мѣрѣ, въ такой же степени, въ какой, съ другой стороны, затопляетъ ее сильно дѣйствующая благонамѣренность. Если эта послѣдняя является отвратительною, вслѣдствіе своей цинически-легкой удовлетворяемости, то благородныя чувства и мысли поражаютъ своею безтактностью и сухостью, рѣжутъ глаза своимъ безсиліемъ и ограниченностью.

„Какъ благонамѣренность, такъ и благородныя чувства равно противны; это маски, за которыми скрывается отсутствіе содержанія, это искусственно напускаемый туманъ, который мѣшаетъ видѣть жизнь дѣйствительную, жизнь не картонную. Когда вы занимаетесь дѣломъ положительнымъ, имѣющимъ корни въ дѣйствительной жизни, придетъ ли вамъ въ голову мысль о необходимости подпустить туда благородства чувствъ? Нѣтъ, не придетъ, потому что дѣло есть дѣло, и ни благороднымъ, ни неблагороднымъ оно не можетъ быть. Возможно ли написать благородную ариѳметику, похвальную химію и не чуждую вопроса о воскресныхъ школахъ физіологію? Нѣтъ, невозможно, потому что все это: и ариѳметика, и химія, и физіологія — все это дѣло. Такъ, стало быть, литература...

„Ну, да, стало быть, литература есть бездѣлье, коль скоро въ нее, какъ въ нѣкоторый непокрытый сосудъ, можно легко помѣщать всѣ плохія чувства, всѣ праздныя поползновенія, всѣ непригодныя для дѣла мысли. Дѣйствительно, благородство чувствъ тамъ преимущественно и прижилось, ибо хотя и были попытки сочинить благородную ариѳметику, но скоро было найдено, что тамъ благородство не пригодно, и что всего ближе оно подходитъ къ беллетристикѣ“.

Такимъ образомъ, разсказываетъ Салтыковъ, явилась фалапга писателей, которые рѣшили, что талантъ есть вздоръ, знаніе жизни—нелѣпость и что главное заключается въ благородствѣ чувствъ. Они принялись доказывать, напримѣръ, слѣдующее: „что образованіе не въ примѣръ лучше необразованія; что порокъ и въ шолковомъ платьѣ все-таки порокъ, а добродѣтель и въ ру-

бищѣ все-таки добродѣтель; что дѣвица начитанная не въ примѣръ пріятнѣе дѣвицы неначитанной; что человѣкъ, пожертвовавшій одинъ рубль въ пользу процвѣтанія общества трезвости, несравненно добродѣтельнѣе того, который такой же рубль пропилъ въ кабакѣ; что неблагородныя чувства — неблагородны; что жизнь есть рѣка, человѣкъ—пловецъ, лодка—величественное зданіе общества, весло—прогрессъ, а волны—тщетная реакція безумныхъ ретроградовъ" и т. п. Они забыли только, замѣчаетъ Салтыковъ, что съ помощію такого же незамысловатаго кодекса уже отравлялъ человѣческую жизнь Ѳ. В. Булгаринъ.

Въ образчикъ такой картонной литературы Салтыковъ пишетъ тутъ же нѣсколько краткихъ повѣстей, а затѣмъ разсказываетъ содержаніе одной настоящей комедіи того же сорта, которая въ то время давалась на сценѣ и даже имѣла успѣхъ.

„Съ невольнымъ страхомъ спрашиваешь себя: неужели общественныя стремленія могутъ быть до такой степени убогими?..

„Да, стало быть, такая жизнь возможна, коль скоро она выродила изъ себя цѣлую литературу. Для чего же мы шумѣли, куда же мы стремились, изъ-за чего мы такъ громко хлопотали? Изъ-за того ли, чтобъ въ результатѣ вышло, что жизнь есть рѣка, человѣкъ—пловецъ, лодка — величественное зданіе общества, весло — прогрессъ, а волны—тщетная реакція безсмысленныхъ ретроградовъ? Да вѣдь на эту тему литература наша болѣе сорока лѣтъ сряду отравляла публику! И вѣдь никто не хочетъ сообразить, что это картонное благородство чувствъ есть лишь ближайшій шагъ къ благонамѣрен-

ности, той самой благонамѣренности, о которой я объяснялъ читателю въ прошедшей моей хроникѣ. Скажу даже болѣе: черта, которая проведена между ними, до того тонка, что почти незамѣтна. Ибо если благородство чувствъ стоитъ на томъ, чтобъ доказать, что добродѣтель добродѣтельна, а порокъ порочень, то и благонамѣренность не отрицаетъ этого, и даже охотно погладитъ по головѣ за такія пріятныя мысли".

Этотъ переходъ совершается очень легко: никто этого не замѣтитъ. „Кто замѣтилъ, какъ „Русскій Вѣстникъ" сдѣлался благонамѣреннымъ? никто!—всегда былъ. Кто замѣтитъ, какъ „Время" сдѣлается благонамѣреннымъ? никто!—всегда было".

Направленіе, которое Салтыковъ характеризуетъ этими терминами, стало тогда въ особенности распространяться, и извѣстно, до какой степени оно господствовало впослѣдствіи. Точку зрѣнія этой публицистики Салтыковъ характеризуетъ такъ:

„Благородство чувствъ никогда не усматриваетъ связи между явленіями, никогда не группируетъ ихъ, никогда не размышляетъ о томъ, въ какомъ отношеніи находится частный фактъ къ цѣлой системѣ: оно слишкомъ взволновано для этого. Оно преслѣдуетъ какія-то пылинки, оно бумажку какую-то загоняетъ, оно замахивается обухомъ на божью коровку и на комара. Оттого-то оно и не огорчаетъ никого, само же, напротивъ того, легко пріобрѣтаетъ способность удовлетворяться. И однажды получивши эту способность, оно ужъ не останавливается; оно утрачиваетъ послѣдніе остатки своей куриной непріязненности къ куриному злу, которая составляла основу его, и дѣлается способнымъ проповѣдовать только истины

въ родѣ того, что куриный міръ красенъ, что куриное солнце свѣтло и что куриный навозъ благоуханенъ".

Въ подтвержденіе своихъ словъ Салтыковъ говоритъ, что въ Петербургѣ существуетъ даже цѣлая газета, проводящая эти мысли. Онъ называетъ эту газету „Куринымъ Эхомъ", подразумѣвая подъ этимъ тогдашній „Голосъ". Содержаніе газеты слѣдующее:

„Отъ первой строки до послѣдней она все умиляется, все поетъ: „Красенъ куриный міръ!" „тепло грѣетъ куриное солнышко!"; отъ первой строки до послѣдней все докладываетъ, какіе сдѣлались россіяне умные, какъ у нихъ все идетъ, всякія эти новыя штучки. „Изъ Рязани пишутъ, что выборы произведены въ совершеннѣйшемъ порядкѣ"; „изъ Саратова пишутъ, что по случаю упраздненія откуповъ ожидали нѣкоторыхъ безпорядковъ, однако все обошлось смирно: народъ пилъ дешовку и похваливалъ"; „изъ Калуги пишутъ, что тамъ, по случаю назначенія новаго губернатора, дворяне рѣшились дать балъ"; „изъ Костромы пишутъ, что тамъ дворяне рѣшились дать балъ безъ всякаго случая"...

„Такого рода сплошнымъ благородствомъ давно уже съ величайшимъ успѣхомъ занимаются всѣ губернскія вѣдомости обширной россійской имперіи. Неужели же наша литература осуждена превратиться въ губернскія вѣдомости? ужели общество, для котораго литература все-таки служитъ органомъ, допуститъ такое нелѣпое превращеніе?"

Въ той же статьѣ Салтыковъ говоритъ о журналѣ „Время" (впослѣдствіи „Эпоха"), издававшемся М. Достоевскимъ. Въ 1862 году, когда пріостановленъ былъ „Современникъ", Салтыковъ помѣстилъ нѣсколько пьесъ

въ журналѣ „Время“, не вступая, впрочемъ, ни въ какую солидарность съ идеями редакціи. Къ этимъ идеямъ Салтыковъ не имѣлъ ни малѣйшей склонности, а съ тѣхъ поръ, когда „Время“ стало проповѣдовать ихъ болѣе настойчиво, между прочимъ зацѣпляя „Современникъ“. и Салтыкова, послѣдній высказался объ этомъ журналѣ безъ умолчаній. Мы упоминали, что направленія въ родѣ тѣхъ, какое представляло „Время“, всегда бывали Салтыкову крайне антипатичны: притязаніе сказать что-то оригинальное, быть „самостоятельнымъ“, и по этому случаю высокое мнѣніе о себѣ, а на дѣлѣ что-то темное, невразумительное, — производили только скучную путаницу. Салтыковъ ни на минуту не признавалъ этой „самостоятельности“ и относился къ ней съ раздражительнымъ пренебреженіемъ. „Время“ покушалось тогда возставать противъ „Русскаго Вѣстника“ въ его новомъ направленіи и даже называло его „булгаринствующимъ“. „А знаете ли вы,—говоритъ Салтыковъ,—что съ „Русскимъ Вѣстникомъ“ все-таки пріятнѣе имѣть дѣло, нежели съ вами? По крайней мѣрѣ, не обманываешься: войдешь въ „Русскій Вѣстникъ“, ну, и знаешь, что вошелъ въ лѣсъ, а въ васъ войдешь—не можешь даже опредѣлить, во что̀ попалъ“.

И онъ дѣйствительно предсказалъ то, что̀ случилось.

„Вы называете г. Каткова булгаринствующимъ, но развѣ не правъ будетъ тотъ, кто васъ, „Время“, назоветъ катковствующимъ? Вотъ я, напримѣръ, именно одаренъ такою прозорливостью, которая такъ и нашептываетъ мнѣ, что вы начнете катковствовать въ самомъ непродолжительномъ времени. Мало того: я даже думаю, что если признавать силу булгаринской традиціи, то надо

признать, что она уже коснулась и васъ... Разумѣется, покуда только невинной своей стороной. Вѣдь и Булгаринъ проводилъ что-то въ родѣ сапоговъ въ смятку, вѣдь и онъ никогда не говаривалъ, что душа человѣческая не безсмертна, и что за воровство не слѣдуетъ наказывать. Вы говорите и проповѣдуете то же самое, да притомъ хотите еще отвести глаза, хотите увѣрить, что у васъ все это свое, самостоятельное. Напрасно. Вѣрьте, что чѣмъ больше будете такимъ образомъ самостоятельничать и своимъ умомъ доходить, тѣмъ болѣе и болѣе будете приближаться къ идеалу, отъ котораго вы теперь отворачиваетесь съ такимъ презрѣніемъ.

„Вы говорите,—продолжаетъ Салтыковъ,—что г. Каткова оспаривать можно и слѣдуетъ (и что̀ вы такъ пристали къ Каткову? Или вы получили отъ него разрѣшеніе? Смотрите, вѣдь онъ когда-нибудь и самъ на васъ замахнется—и не пикнете!); да вѣдь и это еще не вовсе плохое дѣло, коли есть что̀ оспаривать, а вотъ когда худо, коли и спорить не объ чемъ. Возьмите, напримѣръ, „Время“: за что̀ ни прицѣпись — все гладко; хоть всю книжку обшарь (разумѣется, мы не говоримъ о беллетристикѣ), ни обо что не запнешься!“

Дѣйствительно, уже вскорѣ Катковъ „замахнулся“ на „Время“ по поводу извѣстной статьи г. Страхова: „Роковой вопросъ“ (о польскихъ дѣлахъ), и послѣднему пришлось печатать оправданія въ самомъ „Русскомъ Вѣстникѣ“...

„Вы говорите, что васъ не любятъ за то, что вы самостоятельны, за то, что вы не подражаете. Но вѣдь развѣ вы взаправду самостоятельны, развѣ вы не притворяетесь?...

„И еще вы объявляете, что въ тѣхъ сочиненныхъ вами врагахъ (главнѣйшіе-то враги ваши суть: М. М. Достоевскій, Страховъ и Косица), которые вами обижены и предъ которыми вы извиняетесь, ничего нѣтъ русскаго. „Духа русскаго тутъ и слыхомъ не слыхать и видомъ не видать“, говорите вы. Ну, не въ пустынѣ ли вы проповѣдуете? и о комъ это вы говорите?...

„А въ васъ-то что̀ русскаго? А что̀, если мы докажемъ, что все ваше русское есть не болѣе, какъ арбузныя корки, выкинутыя вамъ покойною „Русскою Бесѣдой“ за ненадобностью и обглоданіемъ?

„А что̀ если мы докажемъ вамъ, что въ васъ только и есть русскаго, что „Мертвый домъ“?“

Въ слѣдующей, четвертой, книжкѣ статья Салтыкова посвящена въ особенности „Русскому Вѣстнику“. Московскій журналъ въ своемъ новомъ направленіи началъ уже принимать тотъ извѣстный тонъ, какой онъ такъ упорно поддерживалъ впослѣдствіи, — будто ему одному доступна настоящая истина, что тѣ, противъ кого онъ споритъ, неизбѣжно заблуждаются, потому что не имѣютъ правильнаго основанія. Нѣчто подобное говорилъ „Русскій Вѣстникъ“ уже въ 1863 году, и Салтыковъ, какъ показали послѣдствія, очень вѣрно опредѣлилъ эту возникающую наклонность, кончившуюся извѣстною дѣятельностью Каткова въ послѣднія десятилѣтія. Это было начало того пріема, по которому люди, не соглашавшіеся съ Катковымъ, оказывались „мошенниками пера и разбойниками печати“ („сколько душевнаго гноя надо было накопить, чтобы написать эти слова!“ — говорилъ послѣ

Салтыковъ) или даже „неуличенными государственными преступниками“.

Салтыковъ, какъ онъ часто имѣлъ обыкновеніе, сводитъ полемическій вопросъ на общія понятія. „Русскій Вѣстникъ“ обвинялъ своихъ противниковъ въ недостаткѣ „справедливости“; но въ сущности выходило, какъ объясняетъ Салтыковъ, что обладатели „привилегированныхъ идеаловъ“ не хотѣли допустить никакого другого независимаго мнѣнія. Позднѣйшіе взгляды „Русскаго Вѣстника“ въ то время, конечно, не были еще выработаны; пока онъ какъ будто еще не совсѣмъ отказывался отъ прогрессивныхъ ожиданій, но крайняя нетерпимость уже была готова.

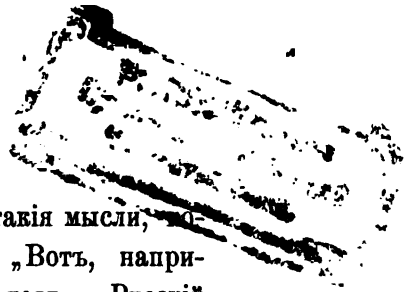
„Подкладка всего этого: „мы будемъ говорить, а вы молчите, мы будемъ приговоры изрекать, а вы приводите ихъ въ исполненіе! Мы одни имѣемъ право быть мудрыми“. И не то, чтобы тутъ была какая-нибудь военная хитрость, т.-е., что вотъ, дескать, отъ вашей рѣзкости и вашего нетерпѣнія только дѣлу поруха, будьте, дескать, кротки какъ голуби, и мудры какъ змѣи, — нѣтъ, это просто какое-то нравственное ожирнѣніе, не желающее знать никакихъ противорѣчій, это просто невинно-фаталистическое чаяніе, что все въ мірѣ строится само собою, что былъ успѣхъ прежде, будетъ успѣхъ и впредь... самъ собою“.

Здѣсь очевидно недоразумѣніе, — говоритъ Салтыковъ, — потому что на обѣихъ сторонахъ исходный пунктъ есть идеалъ. „Если общественный идеалъ еще не выяснился до той степени, чтобы быть признаннымъ всѣми одинаково, и если, съ другой стороны, общество, въ оффиціальной, торжествующей своей формѣ, довольствуется

однѣми азбучными истинами, изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы всѣ члены общества непремѣнно обязывались довольствоваться азбучными истинами, и чтобы тотъ или другой членъ не могъ имѣть своего особаго представленія объ идеалѣ. Напротивъ того, существованіе привилегированныхъ идеаловъ, оффиціальное признаніе справедливости однѣхъ старыхъ азбучныхъ истинъ нисколько не мѣшаютъ протѣсняться въ жизнь инымъ идеаламъ, инымъ истинамъ. И эти новые идеалы, эти новыя истины, несмотря на свою непризнанность, все-таки не теряютъ права на названіе идеаловъ и истинъ, потому что они дѣйствительно идеалы, дѣйствительно истины, хотя не вошедшіе еще, такъ сказать, въ общее употребленіе".

Къ этой общей мысли Салтыковъ прибавляетъ примѣры, взятые изъ литературы. Если журналъ не знаетъ самъ, чего хочетъ и куда идетъ, и занимается донашиваніемъ чужихъ одеждъ и догладываніемъ чужихъ оглодковъ, онъ не заслуживаетъ чести называться органомъ общественнаго мнѣнія. Съ другой стороны, „возьмите, напримѣръ, „Русскій Вѣстникъ"—что̀ можетъ быть опредѣлительнѣе и точнѣе! У него есть свой собственный взглядъ и на прогрессъ, и на зундскую пошлину, и на польскія дѣла, и даже на поджигателей, и никто ему не говоритъ: не имѣй своего взгляда, выражайся такъ, чтобы понять тебя было невозможно. Напротивъ того, всѣ говорятъ: очень пріятно, что ты такъ положительно, такъ ясно и такъ величественно-строго выражаешься! Если иногда, по обстоятельствамъ, и нельзя съ тобой спорить, то, во всякомъ случаѣ, можно тебя цитировать, и этого, покамѣстъ, довольно".

Свобода мыслѝ есть такое святое дѣло, что правомъ



гражданства должны пользоваться даже такія мысли, которыя кажутся намъ несправедливыми. „Вотъ, напримѣръ, въ 1-мъ своемъ № за настоящій годъ, „Русскій Вѣстникъ“ дѣлаетъ легкое сопоставленіе между дѣятелями подметной литературы и петербургскими пожарами; можно на это, конечно, сказать, что такое сопоставленіе нѣсколько гадательно и отчасти пошло, что, наконецъ, не далѣе, какъ въ прошломъ году, „Современная Лѣтопись“ (издававшаяся при „Р. Вѣстникѣ“) публично отплевывалась отъ возможности подобныхъ сопоставленій; но запретить „Русскому Вѣстнику“ производить подобныя операціи нельзя, ибо онѣ соотвѣтствуютъ его идеаламъ. Конечно, многимъ кажется, что „Русскій Вѣстникъ“ можетъ говорить что ему угодно, можетъ даже ошибаться по временамъ, именно въ силу того, что основаніе у него хорошее, а вотъ, напримѣръ, „Современникъ“ говорить не можетъ, потому что основаніе у него плохое. Но вѣдь не надо забывать, что вопросъ объ основаніяхъ есть вопросъ очень спорный. Почему именно основанія „Современника“, а не основанія „Сладкаго Бремени“, не основанія „Куринаго Эха“ должны считаться плохими? почему именно „Современникъ“ долженъ считать себя отверженнымъ? Вѣдь этихъ вопросовъ никто еще не разрѣшилъ, вѣдь объ нихъ не спорятъ“.

Салтыковъ высказывалъ уже тогда, что въ основѣ деспотическихъ притязаній московскаго журнала лежитъ „неблаговидная страсть къ единоторжію мысли и суда“. „Спорьте, милостивые государи, опровергайте, даже доказывайте, что „Современникъ“ несправедливъ съ вашей точки зрѣнія, но позвольте же ему быть справедливымъ съ своей точки зрѣнія! Вѣдь притязанія ваши клонятся,

ни много, ни мало, къ тому, чтобы сдѣлать изъ всѣхъ дѣятелей литературы чистописцевъ, смиренно заносящихъ на бумагу изреченія М. Н. Каткова... ну, нѣтъ, на это мы не согласны!

„И совсѣмъ не потому мы не согласны, чтобы считали для себя унизительнымъ писать подъ диктантъ М. Н. Каткова, а просто потому, что имѣемъ свой собственный образъ мыслей!“

Возвращаясь опять къ обвиненію въ недостаткѣ справедливости, которымъ „Русскій Вѣстникъ“ укорялъ своихъ противниковъ, и къ требованію снисходительности относительно извѣстныхъ явленій, Салтыковъ снова говоритъ съ глубокой серьезностью о существѣ спора и уже въ то время намѣчаетъ тотъ путь озлобленной нетерпимости, который сталъ до конца путемъ „Русскаго Вѣстника“ и „Московскихъ Вѣдомостей“. „Справедливость и снисходительность — совсѣмъ не синонимы. Снисходительность есть дружеская стачка, есть кроткая взятка сердца, допущенныя въ пользу очень милаго намъ лица или очень любезнаго намъ порядка вещей, тогда какъ справедливость есть простой анализъ факта, въ связи съ его исторіей и окружающей средой. Что же общаго между ними?“

Напомнивъ о томъ, почему собственно „мальчишки“ или либералы обвинялись въ несправедливости и въ неснисходительности, Салтыковъ изображаетъ настроеніе „Русскаго Вѣстника“.

„Милостивые государи! Конечно, справедливость сама по себѣ великое слово, но потому-то именно и слѣдуетъ пользоваться этимъ словомъ съ осторожностію. По поводу чего вы требуете справедливости? по поводу вашей же собственной несправедливости. Къ кому требуется

справедливость? къ самимъ себѣ!.. Вы требуете справедливости, вы, которые сами насквозь проникнуты ненавистями и неправосудіемъ всякаго рода, вы, которые шагу не можете ступить безъ того, чтобы не допросить съ пристрастіемъ, чтобы не кинуть тѣни язвительнаго подозрѣнія, чтобы не усъкнуть и не кивнуть головой на тѣхъ, которыхъ вы, правильно или неправильно, считаете врагами вашего спокойствія! Сердца ваши преисполнены желчью и оцтомъ, языкъ вашъ источаетъ ядъ клеветы, руки ваши сводятся судорогою, и вы хотите, чтобы къ этому позорному зрѣлищу, чтобы къ этой „хладной“ ненависти, сдѣлавшейся почти ремесломъ, оставались равнодушными и даже оказывали дань уваженія и снисходительности!

„Милостивые государи! вы ссылаетесь на прежнія ваши заслуги—никто у васъ ихъ не отнимаетъ!.. Вамъ говорятъ одно: если вы остановились въ вашемъ развитіи, если жизнь захлопнула передъ вами свою книгу, если наплывъ новыхъ силъ, новыхъ стремленій составляетъ для васъ загадку, которую вы разрѣшить не въ силахъ, зачѣмъ же вы усиливаетесь разгадать ее? зачѣмъ вы, не успѣвъ въ этомъ, обвиняете эти новыя силы, новыя стремленія въ противообщественности?..

„Еслибы вамъ хоть однажды, хоть ошибкою, пришло это на мысль, вы сказали бы себѣ: не можетъ же быть, чтобы цѣлое поколѣніе двигалось подъ вліяніемъ одуряющаго обмана чувствъ, не можетъ же быть, чтобы въ цѣломъ поколѣніи не было инстинкта правды! И сказавши себѣ это, вы, конечно, заглушили бы вопли ненависти, закипающіе въ сердцахъ вашихъ, вы стали бы въ сторону и не загораживали бы дороги молодому, потому

только, что оно молодо и не можетъ пѣть вамъ въ тонъ?

„Но нѣтъ, вы носитесь съ вашимъ прошедшимъ, до котораго никому уже нѣтъ дѣла, и убѣдившись, что дѣла до васъ дѣйствительно никто не имѣетъ, вы озлобляетесь, вы все забываѣте и ничему не научаетесь. Вы презрительно бросаете въ глаза вашъ безапелляціонный приговоръ, очень кстати припоминая, что на вашей сторонѣ сила дня. Это послѣднее воспоминаніе, вмѣсто того, чтобы смутить и воздержать васъ, вливаетъ, напротивъ того, бодрость въ ваши сердца, придаетъ игривости и бойкости вашимъ изреченіямъ и приговорамъ“.

Послѣдующая дѣятельность московскихъ изданій была именно такова.

Общій вопросъ о „справедливости“ и „снисходительности“ (подъ ними разумѣлось приглашеніе либераловъ къ умѣренности и къ довольству тѣмъ, что̀ предлагала тогдашняя дѣйствительность) Салтыковъ объясняетъ въ заключеніи такъ:

„Единственная справедливость, какая возможна въ отношеніи къ подобнымъ явленіямъ, заключается въ анализѣ ихъ внутренней сущности и въ постановкѣ тѣхъ выводовъ, которые естественно изъ этого анализа вытекаютъ. Что же касается до снисходительности, то, сознаюсь откровенно, я не могу себѣ взять въ толкъ этого понятія. Кому нужна снисходительность, полезна ли для кого или для чего-нибудь снисходительность? Можетъ ли она хоть на минуту затемнить справедливость и притомъ такъ затемнить, чтобы совершенно замѣнить эту послѣднюю?“

Что касается до упрека, будто либералы *требуютъ*

„всего вдругъ“, то они „ровно ничего не требуютъ просто потому, что требованія и неумѣстны, и безполезны“.

Здѣсь же Салтыковъ даетъ небольшой отвѣтъ одной московской газеткѣ [1]), которая, характеризуя „Современникъ“, замѣчаетъ, что въ немъ дѣйствуютъ нынѣ „эпигоны“ и что даже „такъ называемые нигилисты, побойчѣе, замолкли“. „Слышите ли вы радость, которая сочится въ этихъ словахъ прискорбнаго публициста! — говоритъ Салтыковъ.—„Замолкли“, но почему замолкли, любезный публицистъ? не извѣстна ли вамъ причина этого молчанія? Вотъ видите ли, прискорбный публицистъ отнюдь не желаетъ стѣснять себя въ сужденіяхъ о нигилистахъ... даже замолкшихъ, и въ то же время вопіетъ о справедливости, выставляетъ на видъ какое-то кощунство надъ современной исторіей, „надъ всѣмъ, что̀ близко и дорого современному человѣку!“ Это совершенно особаго рода логика, совершенно особаго рода справедливость, въ силу которой одинъ можетъ нахальствовать, сколько душѣ угодно, а другой обязывается молчать, одинъ можетъ формулировать свои обвиненія ясно, а другой не имѣетъ права проводить свою мысль и подъ покровами!“

Въ это же время явилась въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ извѣстная статья г. Фета, гдѣ поэтъ, знаменитый своими изящными стихотвореніями, выступилъ въ качествѣ публициста съ жалобами на своихъ деревенскихъ работниковъ, на потраву его пшеницы крестьянскими гусями и т. п., и въ этихъ безпорядкахъ обвинялъ литературу, которая вмѣсто того, чтобы обсуживать вопросы, „судачитъ о нихъ свысока“. Статья произвела тогда немалое

[1]) Онъ ея не называетъ; вѣроятно, это была газета „Наше Время“.

впечатлѣніе по своей неожиданности и долго служила предметомъ газетнаго остроумія. И дѣйствительно, она обращала на себя вниманіе по имени автора, весьма любимаго поэта, который обратился къ весьма прозаическимъ предметамъ и въ такомъ духѣ, какого можно было бы не ожидать отъ писателя сороковыхъ годовъ. Статья г. Фета была однимъ изъ первыхъ заявленій, гдѣ весьма недвусмысленно высказывалось недовольство порядкомъ вещей, наступившимъ послѣ освобожденія крестьянъ. Салтыковъ не могъ пропустить этого оригинальнаго эпизода безъ шутки, но вообще отнесся къ дѣлу весьма серьезно. Напомнивъ образчики поэзіи Фета, Салтыковъ говоритъ, что, по его мнѣнію, другихъ подобныхъ стиховъ современная русская литература не имѣетъ: ни у кого другого читатель не найдетъ такого олимпическаго безмятежія, такого лирическаго прекраснодушія. Но съ тѣхъ поръ, какъ г. Фетъ писалъ свои прежніе стихи, времена странно измѣнились: отмѣнено крѣпостное право, объявлены новыя начала судоустройства и судопроизводства, „правды на землѣ не стало; люди, когда-то наслаждавшіеся безмятежіемъ, попрятались въ ущелья и разсѣдины земныя“... Вмѣстѣ съ людьми, спрятавшимися въ земныя разсѣдины, — разсказываетъ Салтыковъ, — и г. Фетъ скрылся въ деревню. Тамъ на досугѣ онъ отчасти пишетъ романсы, отчасти предается человѣконенавистничеству, и все это отправляетъ для тисненія въ „Русскій Вѣстникъ“. Въ его новыхъ стихотвореніяхъ замѣчался уже грустный тонъ, „въ нихъ слышится вопль души по утраченномъ крѣпостномъ раѣ“. Наконецъ, объясненіе этихъ стихотвореній явилось въ статьѣ г. Фета: „Изъ деревни“. „Здѣсь г. Фетъ докладываетъ читателямъ,

что времена наступили крутыя и тяжкія, что равенства передъ закономъ нѣтъ, что работники его, Василій и Семенъ, пользуются покровительствомъ законовъ, а онъ, г. Фетъ, не пользуется, что у него, г. Фета, чуть-чуть не пропало за Семеномъ 11 р., а Василью, къ счастью, не было выдано задатка, а то точно такъ же чуть-чуть бы не пропалъ; что у него, г. Фета, потравили-было пшеницу крестьянскіе гуси, и что во всѣхъ этихъ беззаконіяхъ и безпорядкахъ обвиняется литература"... Г. Фетъ въ самомъ дѣлѣ думалъ, что литература въ этомъ виновата: когда приходитъ почта и онъ вскрываетъ журналы, „ему дѣлается вдругъ и грустно, и смѣшно, и стыдно, и противно". Салтыковъ считалъ г. Фета счастливымъ, что онъ могъ одновременно испытывать столько ощущеній и вмѣстѣ съ тѣмъ не выпускать изъ головы вѣчно присущую мысль (врожденная идея) о чуть-чуть не пропавшихъ одиннадцати рубляхъ: но что же такъ его возмущаетъ въ литературѣ? Онъ утверждалъ, будто въ литературѣ идетъ „струя демократизма, въ самомъ циническомъ значеніи этого слова"; это будто бы „тотъ самый мотивъ, который въ парижскомъ театрѣ *для черни* заставляетъ блузниковъ выгонять чисто одѣтаго человѣка изъ партера огрызками яблокъ".

Салтыковъ отвѣчаетъ съ негодованіемъ: „Извините, г. Фетъ, но мнѣ просто „и грустно, и смѣшно, и стыдно, и противно" читать приведенныя выше строки". Тотъ самый журналъ, въ которомъ г. Фетъ помѣщалъ свою статью, говорилъ въ это время о необходимости „общенія", а если г. Фетъ разумѣлъ другія изданія—„то и другая-то литература о чемъ же хлопочетъ? она хлопочетъ о равенствѣ, милостивый государь, не о мечтательномъ какомъ-нибудь

равенствѣ, а о томъ равенствѣ передъ закономъ, о которомъ хлопочете и вы. О какомъ же демократизмѣ вы говорите? вспомните, что вѣдь мы не въ дикомъ государствѣ живемъ, гдѣ все можно говорить, что у насъ тоже цензура есть, цензура попечительная, налагающая на уста добровольное молчаніе... А то „демократизмъ"! гдѣ вы такое чудо видѣли?... Дайте намъ факты, милостивый государь, факты дайте намъ, а не наполняйте пустыню вашими воплями, не вливайте фіала желчи и горечи въ наши груди, и безъ того уже исцарапанныя когтями премудрыхъ московскихъ совъ!"

Г. Фетъ жаловался, что литература относится легкомысленно ко всякимъ вопросамъ. „Но вѣдь это смотря по тому, въ чемъ состоитъ и какого свойства вопросъ. Вотъ вы, напримѣръ, говорите, что чуть-чуть не потеряли 11 рублей, которыхъ вамъ не отработалъ работникъ Семенъ, и что крестьянскіе гуси чуть-чуть не потравили вашей пшеницы,—ну, на это, пожалуй, я первый скажу: „помилуйте! къ чему это! это вздоръ! все пустяки!" но чтобы я сказалъ то же самое объ измѣненіяхъ паспортной системы и о другихъ матеріяхъ важныхъ—это никакъ невозможно!"

Но г. Фетъ могъ спросить, какъ отнеслась бы литература къ данному случаю; Салтыковъ отвѣчаетъ, что литература увидала бы здѣсь одну изъ случайностей сего несовершеннаго міра и что ей нѣтъ никакого дѣла до 11 рублей, потому что она занимается не частными, а общими вопросами. „Въ настоящее время литература можетъ дать вамъ одинъ совѣтъ: относительно гусей—брать ихъ немедленно подъ арестъ и поднимать тотъ же гвалтъ, какой описанъ вами въ статьѣ вашей; относительно ра-

ботника Семена—не давать ему впередъ ни копѣйки въ задатокъ. Извините, что считается невозможнымъ совѣтовать вамъ повѣсить Семена или содрать съ него шкуру: этого дѣлать нельзя, потому что за такой поступокъ вы можете отвѣчать передъ начальствомъ". Въ прежнія времена,—говоритъ Салтыковъ,—когда въ насъ самихъ заключался весь судъ, мы устраивались легко, потому что задатковъ никакихъ не давали, а гусей могли всѣхъ поголовно перерѣзать; а теперь недостаточно обвинить работника, но надо привести доказательства; и надо только привыкнуть къ этому порядку. Представьте себѣ,—говоритъ Салтыковъ, — что васъ въ Москвѣ обокрали и вы поймали вора на мѣстѣ преступленія: „вѣдь вы не стали бы требовать, чтобы вамъ того вора позволено было зарѣзать вашими собственными руками? Вѣдь васъ не ужаснула бы мысль, что на вора вамъ слѣдуетъ принести жалобу въ полицію и затѣмъ спокойно ожидать дальнѣйшаго удовлетворенія? Но повѣрьте же, г. Фетъ, что все точно такъ же должно происходить и въ томъ случаѣ, о которомъ вы разсказываете". Г. Фетъ жаловался, что въ подобныхъ спорахъ нѣтъ равенства передъ закономъ, что еслибы землевладѣлецъ не удовлетворилъ рабочаго, то земская полиція не усомнилась бы описать имущество для его удовлетворенія. „Хорошо, — говоритъ Салтыковъ,—кабы вашими устами да медъ пить, но повѣрьте, г. Фетъ, что чаще, гораздо чаще бываютъ случаи, что рабочіе просто побьются, побьются, да и уйдутъ съ пустыми руками". Онъ напоминаетъ, какъ всего чаще дѣлалось и дѣлается въ нашей жизни въ подобныхъ случаяхъ и что было слишкомъ извѣстно. „Вообще мнѣ кажется, что вы нѣсколько завидуете счастливымъ поселя-

намъ. Это неоднократно случалось и со мной, особливо когда ѣдешь, бывало, темнымъ осеннимъ вечеромъ по грязи и колоти, а на тебя такъ привѣтливо смотрятъ огоньки изъ „бѣдныхъ, Богомъ хранимыхъ“ хижинъ. Но зависть эта сейчасъ же унималась, какъ только я убѣждался, что съ этими огоньками соединяется понятіе о лучинѣ, о дымѣ и смрадѣ, который при этомъ распространяется, и еще унималась зависть, когда я тутъ же встрѣчалъ обозъ и собственными глазами увѣрялся, что все-таки сижу въ болѣе или менѣе покойномъ экипажѣ, а счастливый поселянинъ идетъ за своимъ возомъ пѣшкомъ, да часто еще обязывается лично помогать своей испитой кляченкѣ. Право, займитесь когда-нибудь подобными размышленіями; это совсѣмъ не трудно“. И Салтыковъ продолжаетъ: „Вѣрьте, г. Фетъ, что этотъ совѣтъ даетъ вамъ не столько литераторъ, къ которому (не ко мнѣ собственно, а къ собирательному имени) вы вообще питаете нелюбовь, сколько сельскій хозяинъ, самъ на практикѣ испытавшій всю горечь этого ремесла“. Собственный интересъ всего дороже, и хозяину все кажется, что никто-то о немъ не радитъ, никто ничего не дѣлаетъ, но „иногда раздумаешься“. И Салтыковъ рисуетъ картину того страшнаго труда, который исполняется крестьяниномъ въ сельскомъ хозяйствѣ, въ наглядныхъ цифрахъ тѣхъ верстъ, какія онъ исходитъ, распахивая десятину, въ цифрахъ пудовъ, которые онъ перетаскаетъ, раскидывая по полю навозъ и получая за такой трудъ 30, много 40 копѣекъ въ день. Онъ полагалъ, что это могло бы послужить *нѣкоторымъ* облегченіемъ въ неисправности рабочаго. Г. Фетъ думалъ, что помѣщичье хо-

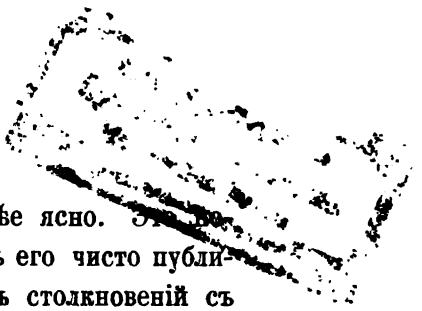
зяйство есть, такъ сказать, житница, но и крестьянское хозяйство есть также житница...

Мы остановимся еще на одной изъ общественныхъ хроникъ Салтыкова [1]). Онъ говоритъ вообще о томъ складѣ, какой получала тогдашняя жизнь, и вообще объ историческихъ силахъ русской жизни. Здѣсь опять мы найдемъ черты, чрезвычайно любопытныя для характеристики цѣлаго міровоззрѣнія Салтыкова, которое, какъ извѣстно, приводило иныхъ въ недоумѣніе и которое враги его называли простымъ голымъ отрицаніемъ, лишеннымъ положительной основы, и смѣхомъ для смѣха. Не будемъ говорить о томъ, какъ странно не видѣть, напротивъ, глубокой нравственной и гражданской основы въ созданіяхъ поэтической сатиры Салтыкова, гдѣ безконечная галерея лицъ и общественныхъ положеній ясно говоритъ о строгомъ нравственномъ мѣрилѣ, на которомъ основано это отрицаніе. О той же основѣ говорятъ тѣ нерѣдкія „лирическія мѣста“, которыя разсѣяны у Салтыкова среди полнаго разгара его сатирическаго настроенія. Наконецъ, въ томъ, что̀ мы приводили до сихъ поръ изъ публицистическихъ трактатовъ Салтыкова, разсѣяна цѣлая масса прямыхъ указаній на его общественные взгляды, гдѣ уже не можетъ быть сомнѣній о томъ, что у него были совершенно ясныя представленія и о данномъ положеніи вещей, и о томъ, какимъ бы желалъ онъ его видѣть не по какимъ-нибудь заоблачнымъ теоріямъ, а именно въ данныхъ предѣлахъ нашей общественности, въ тѣхъ условіяхъ, какія поставлены для на-

[1]) „Современникъ“, 1863, № 5.

шей литературы, которая, въ концѣ концовъ, важна была тѣмъ, что составляла единственное выраженіе нашего общественнаго мнѣнія. Мы видѣли, гдѣ были его симпатіи: освобожденіе крестьянъ, которое, кромѣ его экономическаго смысла, казалось ему дѣломъ простой человѣческой справедливости; равенство передъ закономъ; правильный судъ; въ литературѣ — возможность говорить о предметахъ, составляющихъ важнѣйшій интересъ не только общества, но и цѣлаго государства; со стороны писателей — честное отношеніе къ своему дѣлу, безъ мелкихъ и безчестныхъ разсчетовъ своей личной выгоды, и т. д. Не разъ, какъ мы видѣли, онъ говоритъ своимъ противникамъ простыя, серьезныя слова, вразумляющія о дѣйствительномъ положеніи вещей, съ желаніемъ предостеречь отъ грубой ошибки или грубой несправедливости (какъ, напримѣръ, въ переданномъ сейчасъ эпизодѣ съ г. Фетомъ). Изрѣдка онъ размышляетъ и о самомъ существѣ нашего общественнаго положенія, и о цѣлой русской исторіи. Однимъ размышленіемъ этого рода мы закончимъ на этотъ разъ пересмотръ публицистическихъ произведеній Салтыкова, и сдѣлаемъ небольшую оговорку.

Въ публицистическихъ статьяхъ, какъ вообще во всѣхъ произведеніяхъ Салтыкова, остается всегда нѣчто недоговоренное. Въ произведеніяхъ художественныхъ онъ говорилъ съ читателемъ образами: понятно, что въ этихъ случаяхъ теоретическое объясненіе и не должно было быть дѣломъ писателя; оно всегда неумѣстно въ художествѣ; притомъ образы были почти всегда достаточно понятны. Гдѣ они получали нѣсколько преувеличенный, каррикатурный, фантастическій видъ, тамъ это, если не приводилось капризомъ богатой фантазіи, то требовалось



внѣшней невозможностью говорить болѣе ясно. Это послѣднее въ особенности встрѣчалось въ его чисто публицистическихъ трудахъ: онъ не любилъ столкновеній съ цензурой, старался избѣгать ихъ, не давать къ нимъ повода и, съ одной стороны, умѣлъ все-таки высказать свою мысль, а съ другой—хотѣлъ заставить самого читателя подумать, заставить его самого развивать тѣ мысли, которыхъ тему онъ давалъ. Это была настоящая форма бесѣды: онъ не просто догматически излагалъ свои положенія, но вводилъ самого читателя въ кругъ своихъ размышленій, предоставлялъ ему доканчивать начатую мысль и дѣлать выводъ... Такимъ образомъ, мысль Салтыкова во всемъ ея объемѣ должна быть восполняема тѣмъ, что онъ предоставлялъ завершать самому читателю.

Время, о которомъ говорилъ Салтыковъ, было еще очень близко къ великой реформѣ: прошло только два года послѣ освобожденія крестьянъ, съ котораго думали начинать новую эру, и между тѣмъ настроеніе нашего наблюдателя было весьма мало удовлетворительное. Оживленія общества не совершилось; новая эра открывалась скучно, почти безнадежно.

„Кислое время, кислая жизнь. Сидишь себѣ въ кабинетѣ, слѣдишь за журналами и газетами и спрашиваешь себя: да куда же она дѣвалась, эта жизнь? Остановилась она или просачивается ,гдѣ-нибудь, просачивается, быть можетъ, безвѣстно гдѣ-нибудь и близко насъ, какъ просачиваются въ болотѣ ключи, изъ которыхъ потомъ образуется хорошая, веселая и многоводная рѣка?“...

Но какую жизнь надо здѣсь понимать? Существовала ли у насъ когда-нибудь такая жизнь?

„Жизнь проявляется въ обществѣ въ двоякой формѣ.

Есть жизнь всѣми признанная, пролагающая свое ложе открыто, совершенствующая себя на глазахъ всѣхъ, и есть жизнь непризнанная, но ищущая этого признанія неотступно, жизнь темная, погруженная въ подземную работу и цѣною величайшихъ жертвъ и усилій подготовляющая матеріалъ для жизни признанной. Положеніе первой очень удобное: просто хоть не умирай. Пути себѣ она прокладываетъ по усмотрѣнію, совершенствуется не торопясь и тоже по усмотрѣнію, однимъ словомъ, устраиваетъ свой комфортъ, какъ ей хочется. Для нея собственно даже и въ путяхъ-то новыхъ нѣтъ надобности, потому что она свое ложе уже облюбовала и разлилась въ немъ со всѣми удобствами, потому что неудобства, происходящія отъ старыхъ, рутинныхъ путей, которымъ она слѣдуетъ, падаютъ всею своею тяжестью не на нее, жизнь веселую и спокойно текущую, а на другую, на ту, которая все стучится и достучаться не можетъ, на ту, которая работаетъ да работаетъ себѣ за кулисами".

Но эта, веселая, повидимому, всѣмъ довольная жизнь ищетъ все-таки обновленія; человѣкъ, находящійся, повидимому, наверху благополучія, ищетъ этого обновленія уже въ силу того, что человѣкъ не довольствуется однообразными ощущеніями. Было ли въ нашей жизни, въ тѣхъ ея сферахъ, которыя могли быть совершенно довольны, такое обновленіе?

Шесть лѣтъ тому назадъ,—говоритъ Салтыковъ,—у насъ началось какое-то движеніе, которое многихъ преисполнило гордынею и радостью. Откуда шло движеніе, мы себя не спрашивали: мы видѣли только, что нѣчто шевелилось. „Какъ оказалось впослѣдствіи, это было движеніе мелочей и подробностей, но кто же знаетъ? Быть

можетъ, именно этотъ-то мелочной характеръ обновленія и составлялъ тайную причину нашей радости; по крайней мѣрѣ, такъ можно догадываться изъ того, что къ этому движенію симпатически относились не только тѣ, которые, подобно г. Громекѣ, предварительно раздѣливши всѣ движенія на неподозрительныя и подозрительныя, отдаются первымъ со всею пламенностью, а послѣдними не увлекаются, но и тѣ, которые на всякаго рода движенія поглядываютъ вообще неблагопріятно [1]). Въ немъ именно то̀ и удобно было, что оно ничего не подкапывало, а только, украшало... Понятно, что на первыхъ порахъ всякій самый маленькій смертный спѣшилъ заявить, что и у него имѣется на примѣтѣ маленькій вопросецъ, который, въ числѣ прочихъ маленькихъ вопросцевъ, своимъ разрѣшеніемъ весь этотъ вертоградъ утвердить и изукрасить можетъ, и что, такимъ образомъ, вопросовъ должно было вдругъ накопиться множество".

„И вдругъ,—говоритъ Салтыковъ далѣе,—мгновенно взбаламутившаяся поверхность общества столь же мгновенно сдѣлалась ровною и гладкою какъ зеркало; повидимому, возможность ставить вопросы не прекратилась, повидимому, они и ставятся отъ времени до времени, а общество ни гугу, словно оцѣпенѣло, словно обуялось преднамѣренною, озорною безчувственностью. Значитъ ли это, что общество шесть лѣтъ тому назадъ жило? Значитъ ли, что оно до такой степени неустойчиво, что не можетъ вынести даже такого короткаго періода жизни,

[1]) Салтыковъ не разъ возвращается къ Громекѣ, который не мало писалъ тогда о нашихъ внутреннихъ вопросахъ (въ „Р. Вѣстникѣ", а особливо въ „Отеч. Запискахъ") именно въ этомъ, такъ сказать, либерально-ретроградномъ духѣ, такъ что трудно было понять, чего онъ собственно желаетъ: такого рода направленій Салтыковъ не выносилъ.

что оно равнодушно и малопризнательно, потому что мертво?"

Салтыковъ объясняетъ, что, собственно говоря, жизни и не было и нѣчему было останавливаться. Толки и споры были безплодны, потому что они не выходили за предѣлы простого разговора, не приводили ни къ какому практическому результату, и какъ скоро нужно было убѣдиться въ этомъ послѣднемъ, то естественнымъ образомъ пришло разочарованіе. „И если теперешнее мое разочарованіе доказываетъ отсутствіе жизни, то и недавнія очарованія мои отнюдь не доказывали присутствія ея". Это почти невѣроятно,—говоритъ Салтыковъ,—но еслибы спросили, что онъ предпочитаетъ: теперешнее общество, совсѣмъ равнодушное и ни о чемъ не мечтающее, или общество недавнее, мечтавшее о внезапномъ водвореніи правды на землѣ посредствомъ уничтоженія чиновническихъ злоупотребленій,—онъ отдавалъ предпочтеніе первому. „Есть что-то умиротворяющее въ этомъ спокойствіи; глаза слипаются сами собою, въ ушахъ раздается разслабляющій звонъ. Точно вотъ плывешь по широкой рѣкѣ и вдругъ выбиваешься изъ силъ; мало-помалу начинаютъ захлестывать волны, сознаніе постепенно ослабѣваетъ, и хотя руки и ноги еще работаютъ, но эта работа есть только послѣднее усиліе остывающей жизни; еще минута—и эти послѣднія усилія прекратятся, наступитъ спокойствіе... Хорошо это спокойствіе и само по себѣ, но въ особенности оно хорошо тѣмъ, что издали кажется чѣмъ-то гордымъ, какъ будто бы человѣкъ говоритъ: вы не думайте, чтобы я не могъ бороться, а вотъ могу, да не хочу"...

Другимъ, напротивъ, нравилось то время; все-таки

было веселѣе: „Былъ шумъ, былъ говоръ, была суетня. Все равно, какъ мельница, на которую давно помольцы не везутъ никакого мелева и которой хозяинъ думаетъ: а ну-ка, пущу я снасть, пускай себѣ ходитъ жерновъ и безъ мелева! И вотъ пошелъ стучать жерновъ, пошло ходить колесо; окрестность становится какъ-то веселѣе, кругомъ раздается шумъ и стукъ, какъ будто кто-то живетъ... А кому охота справляться, что тутъ дѣлается? Напротивъ того, всякій думаетъ: куда хорошо въ этомъ мѣстѣ пожить, и рѣчка таково сладко журчитъ, и меленка мелетъ—все какъ будто не одинъ, а на людяхъ!“

„Вотъ какъ говорятъ защитники нашего начинавшагося молодого возрожденія, и я долженъ сознаться, что, съ точки зрѣнія мельницы, въ этомъ разсужденіи есть своя доля справедливости“.

Но если жизнь признанная идетъ вяло, если ея прогрессъ является результатомъ механическаго наростанія, которое можетъ продолжаться, можетъ и прекратиться, то гдѣ же скрывается настоящая историческая жизнь? Гдѣ другая руководящая сила?

„Да, эта сила есть, но какъ поименовать ее такимъ образомъ, чтобы читатель не ощетинился, не назвалъ меня волтеріанцемъ или другимъ браннымъ именемъ, и не заподозрилъ въ утопизмѣ? Успокойся, читатель! я не назову этой силы, а просто сошлюсь только на правительственную реформу, совершившуюся 19-го февраля 1861 года. Надѣюсь, что это не утопизмъ.

„Вникните въ смыслъ этой реформы, взвѣсьте ея подробности, припомните обстановку, среди которой она совершилась, и вы убѣдитесь: во-первыхъ, что, несмотря на всю забитость и безвѣстность, одна только эта сила

и произвела всю реформу, и, во-вторыхъ, что, несмотря на неблагопріятныя условія, она успѣла положить на реформу неизгладимое клеймо свое, успѣла найти себѣ поборниковъ даже въ сферѣ ей чуждой.

„Это та самая сила, которая ничего не начинаетъ безъ толку и безъ нужды, это та сила, которая всякое начинаніе свое дѣлаетъ плодотворнымъ, претворяетъ въ плоть и кровь. Ревновали Владиміры Мономахи, ревновали Мстиславы, Ярославы, Іоанны Грозные и негрозные, склеивали, подмазывали, подглаживали, подстраивали и все-таки оно разлеталось врозь, все-таки оно при первомъ же случаѣ оказывалось дряблымъ и несостоятельнымъ („что̀ такое это оно?“ спроситъ читатель.— А я почемъ знаю! отвѣчаю я). А вотъ поревновалъ однажды Кузьма Мининъ Сухорукъ, — и сдѣлалъ. Неужели же это Мининъ сдѣлалъ? И какъ онъ сюда попалъ? Какъ не затонулъ въ общей засасывающей пучинѣ? Нѣтъ, это не Мининъ сдѣлалъ, а сдѣлала сила, которая выбросила его изъ пучины, выбросила, не спросясь никого, выбросила потому, что бываютъ такія минуты въ исторіи, что самыя неизмѣримыя хляби разверзаются сами собой“. Но эта сила проявляетъ себя рѣдко, и потому думаютъ часто, что ея совсѣмъ нѣтъ. „Подъ вліяніемъ этого обмана чувствъ, мы иногда заходимъ очень далеко, до того далеко, что не признаемъ никакой исторіи, кромѣ внѣшней, не допускаемъ никакого прогресса, кромѣ внѣшняго. Въ этомъ смыслѣ грѣшатъ даже такіе привилегированные народолюбцы, какими представляютъ себя, напримѣръ, славянофилы“.

Правда, это заблужденіе было легко возможно, потому что внѣшняя исторія постоянно напоминала о себѣ.

Мы увлекались фактами и совершенно искренно забывали, что гдѣ-то пишется другая исторія, своеобразная и не связанная съ внѣшнею даже механически. Эта исторія пишется втихомолку и неярко: она не представляетъ собой сплошного рапорта о благосостояніи и преуспѣяніи, но, напротивъ того, не чужда скромнаго сознанія безсилія, скромныхъ сѣтованій объ ошибкахъ и неудачахъ; содержаніе ея раскрывается передъ нами туго и скорѣе поражаетъ горькимъ абсентеизмомъ и унылымъ воздержаніемъ, нежели проявленіями дѣятельной силы; но тѣмъ не менѣе, и эта вынужденная скромность, и это насильственное воздержаніе не могли безвозвратно загнать ее въ ту пучину безвѣстности, куда, рано или поздно, должна кануть исторія внѣшняя, со всѣмъ ея мишурнымъ блескомъ, со всѣмъ театральнымъ громомъ.

„Что эта внутренняя, бытовая исторія существуетъ— въ томъ опять-таки служитъ порукой недавняя крестьянская реформа, на которую я указывалъ выше. Извѣстно, что еще очень недавно самая мысль объ освобожденіи крестьянъ казалась дикою и преслѣдовалась, какъ угрожающая общественному спокойствію. Казалось бы, что торжество такой мысли, которую все стремилось изгнать не только изъ жизни, но и изъ самаго народнаго представленія, должно было произвести въ народѣ переполохъ, должно было бы встрѣтить его неприготовленнымъ; однако, оказалось совсѣмъ напротивъ. Реформа не только привилась сразу, но сразу же оказалась заключающею въ себѣ зерно дальнѣйшаго развитія и усовершенствованій. Теперь крѣпостное право представляется почти въ такой же степени отдаленнымъ, какъ погромъ Батыевъ. И точно такое же явленіе произойдетъ и относительно

другихъ реформъ, по поводу которыхъ мы загодя тужимъ и соболѣзнуемъ: не привьются, дескать, онѣ, не привьются къ нашему грубому народу.

„Поэтому мы, которые думаемъ, что родникъ жизни изсякъ, что творческая сила ея прекратилась, мы думаемъ и судимъ поверхностно. Мы принимаемъ за жизнь то, что̀ собственно заключаетъ въ себѣ лишь призракъ жизни, и забываемъ, что есть жизнь иная, которая одна въ силахъ искупить наше безсиліе, которая одна можетъ спасти насъ. Эта сила не анархическая, а устроительная, и потому для всѣхъ равно симпатичная. Въ „Смутное время“ русскіе города пересылались и списывались между собою, но у какого же историка поднимется рука, чтобы назвать это движеніе анархическимъ? Вотъ къ этой-то силѣ и должны мы обращаться и помнить, что какова бы ни была дѣятельность, но если она ищетъ себѣ опору индѣ, то эта дѣятельность пройдетъ мимо, каковы бы ни были ея намѣренія. Заботьтесь сколько угодно о насажденіи правды на землѣ — эта правда не оцѣнится и не признается; допускайте, съ другой стороны, всякую неправду, всякую обиду—это будетъ явленіе горькое, но оно вынесется; оно вынесется, какъ выносится моровое повѣтріе. Тутъ не можетъ быть и рѣчи даже о томъ, что̀ хорошо и что̀ худо; къ хорошему бытовая исторія отнесется точно такъ же равнодушно, какъ и къ худому.

„И такъ, не станемъ приходить въ отчаянье, а будемъ вѣрить. Жизнь не останавливается и не изсякаетъ. Если горькимъ насильствомъ не суждено ей проявиться непосредственно, она просочится сквозь тѣ честныя сердца,

которыя воспримутъ сѣмя ея и сторицею возвратятъ ей посѣянное".

Мы видѣли въ другомъ мѣстѣ, какъ самъ Салтыковъ объяснялъ „Исторію одного города"; въ приведенныхъ сейчасъ извлеченіяхъ мы находимъ положительное выраженіе его взгляда на нашу исторію и на народъ. Занятый настоящимъ, онъ рѣдко обращался къ вопросамъ исторіи; въ приведенной цитатѣ ясно, что на историческій вопросъ онъ смотрѣлъ такъ, какъ смотрѣлъ бы на него самый ревностный народникъ. Интересъ исторіи состоитъ для него не въ громкихъ фактахъ внѣшней исторіи, фактахъ весьма часто эфемернаго и сомнительнаго достоинства, а именно въ судьбѣ массы, изъ нѣдръ которой въ критическіе моменты является могущественная нравственная сила, рѣшающая самые жизненные вопросы народа и государства. Онъ высказалъ свою мысль мимоходомъ, не объясняя историческаго процесса, какимъ совершается это явленіе; но мысль понятна: она очень далека отъ того отрицанія, въ какомъ его укоряли, и даетъ то самое историческое представленіе, какимъ, если не ошибаемся, одушевлены лучшія работы по исторіи русскаго народа.

II.

Въ лѣтнихъ книжкахъ „Современника“ (1863) не было обычныхъ общественныхъ хроникъ Салтыкова; взамѣнъ того въ августовской книгѣ помѣщена была статья: „Въ деревнѣ, лѣтній фельетонъ“. Въ то время подобный фельетонъ могъ быть особенно интересенъ: съ освобожденіемъ крестьянъ началъ установляться новый складъ деревенскихъ отношеній, весьма не похожихъ на прежнія, и Салтыковъ коснулся отчасти этого предмета; но онъ говорилъ и вообще о деревнѣ и сельскомъ бытѣ въ отличіе отъ городского. Въ то время поднимались уже толки о необходимости „сближенія съ народомъ“; цѣлая журнальная школа принималась разработывать вопросъ „о почвѣ“; „День“ Аксакова по старому преданію скорбѣлъ о „разрывѣ съ народомъ“, ополчался на „абсентеизмъ“, и для пущаго изобличенія нашей оторванности отъ народа изображалъ различіе двухъ странъ—Руси и „Русляндіи“, и послѣднюю представлялъ въ видѣ форрейтора, оторвавшагося съ выносными лошадьми отъ экипажа и ускакавшаго впередъ съ однѣми этими лошадьми... Салтыкову эти и подобные толки нравились очень мало,

были даже просто противны: ему чувствовалось, и справедливо, что во всемъ этомъ есть фальшь, фраза, неумѣнье или боязнь говорить о настоящемъ положеніи вещей,—все это кончалось пустословіемъ, когда съ другой стороны все болѣе беззастѣнчиво сказывались стремленія прекратить всякіе планы либеральныхъ преобразованій и вернуть жизнь въ ея старыя рамки.

По обыкновенію Салтыковъ начинаетъ шуткой:

„Давнымъ давно извѣстно, что самая благодатная вещь на свѣтѣ—это лѣто въ деревнѣ. Въ самомъ словѣ: „деревня“, звучитъ что-то невинное; какъ-то переносишься мыслію въ тѣ пріятныя и злачныя мѣста, въ которыхъ гуляли наши прародители, пока не вкусили отъ древа познанія добра и зла. Конечно, имъ было ловчѣе нашего, потому что они ходили совсѣмъ безъ одеждъ, кушали самые сочные фрукты и вообще жили на всемъ на готовомъ; но и намъ, ихъ потомкамъ, не дурно: не даромъ же съ словомъ: „деревня“, кромѣ понятія о невинности, соединяется еще понятіе о просторной одеждѣ и о прекрасной ѣдѣ.

„Иногда я думаю: какъ это, право, досадно, что наши прародители преслушались! Еслибъ они не преслушались, мы и сейчасъ гуляли бы себѣ безпечно по садамъ, кушали бы прекрасные фрукты, ходили бы безъ одеждъ, не пахали бы, не сѣяли... Но, стало быть, красивъ же былъ тотъ плодъ, который росъ на древѣ познанія добра и зла, если одного вида его достаточно было, чтобы возбудить со стороны человѣка такое ужасное дѣйствіе, какъ ослушаніе! Да, много горя и бѣдъ надѣлали намъ прародители изъ одного любопытства! Но если ужъ надѣлали, то, стало быть, и говорить объ этомъ нечего“.

По понятіямъ простолюдиновъ, мало вникающихъ въ существо вещей, продолжаетъ Салтыковъ, житье самое близкое къ прародительскому есть именно житье нашего землевладѣльца лѣтомъ въ деревнѣ, и, судя поверхностно, тутъ есть доля правды. „Повидимому землевладѣлецъ только и дѣлаетъ, что гуляетъ, кушаетъ фрукты и ходитъ въ просторной одеждѣ; который умѣетъ сочинять стихи — сочиняетъ стихи; который обученъ на скрипкѣ или віолончели—выводитъ смычкомъ серенаду Шуберта". Но это сужденіе поверхностно, потому что простолюдинъ не понимаетъ, какія заботы могутъ обуревать землевладѣльца: можетъ быть, онъ изобрѣтаетъ уже изобрѣтенный Ньютономъ биномъ или обдумываетъ законы вѣчнаго движенія, или рѣшаетъ вопросъ о томъ, что̀ такое комета и зачѣмъ у нея хвостъ и т. п. Самъ авторъ чувствуетъ себя въ деревнѣ бодрымъ и веселымъ: онъ видитъ, какъ кругомъ его все занято дѣломъ, но имъ до того овладѣваетъ ненависть къ словоизверженію, что день полученія газетъ становится днемъ тошноты. Онъ думаетъ: неужели есть на свѣтѣ такая обязанность, чтобы каждый божій день приниматься за ту же сутолоку?

„Да, есть такія занятія; они существуютъ въ той пыльной и душной сферѣ, гдѣ съ одной стороны безпокойно рѣетъ надъ жизнью жадное до падали литературное воронье и надрывающимъ душу голосомъ выпрашиваетъ жертвъ для своей плотоядности, а съ другой—ключомъ кипятъ кисленькіе споры о различіи между Русляндіей и Русью; гдѣ съ одной стороны тупоуміе и хвастовство признаются за единственную руководящую истину жизни, а съ другой—неудержимымъ потокомъ вырываются изъ самыхъ человѣческихъ внутренностей метафоры о

форрейторѣ, оторвавшемся съ выносными лошадьми отъ экипажа (фигуральное изображеніе Русляндіи). Это міръ почти фантастическій, міръ, гдѣ все обусловливается или подачкой, или вдохновеніемъ, которое, какъ извѣстно, не признаетъ никакихъ условій. Прямое назначеніе людей этого міра—сочинять мадригалы и конфектные билетики, но судьба странно играетъ смертными и изъ урожденнаго сочинителя тріолетовъ дѣлаетъ плохого и невразумительнаго публициста". Говорятъ, что между дѣятелями этой категоріи есть люди „искренніе", занимающіеся политическими и экономическими „рондо" по влеченію невиннаго и горячаго сердца, — но авторъ находитъ, что въ результатѣ мало разницы между трудами искреннихъ и неискренних... „Вдохновенные глупцы едва ли даже не вреднѣе, нежели плуты, промышляющіе ложью съ сознаніемъ. Отъ послѣднихъ еще можно освободиться, отъ первыхъ—ни пестомъ, ни крестомъ".

Въ слѣдующемъ дальше разсказѣ о пребываніи въ деревнѣ землевладѣльца, городского жителя, идетъ рядъ эпизодовъ, которые косвенно отвѣчаютъ на тогдашніе толки о сближеніи съ народомъ, объ организаціи хозяйства и собственномъ надзорѣ и т. п. Салтыковъ объясняетъ, что все это не такъ просто. Городскому жителю нечего дѣлать въ деревнѣ: складъ его жизни, взглядовъ, привычекъ совсѣмъ иной; сельское хозяйство есть спеціальность, требующая всего времени, усиленнаго труда и особыхъ житейскихъ пріемовъ. Въ городахъ мы привыкли мѣрять большою мѣрою; въ деревнѣ, напротивъ, все группируется около грошей и копѣекъ; деревенскіе ущербы важны только въ совокупности, а взятые отдѣльно кажутся столь ничтожными, что городской житель

легко пропускаетъ ихъ безъ вниманія, тѣмъ больше, что погоня за этими мелочами, напримѣръ потравами, порубками, отрываетъ отъ болѣе серьезнаго дѣла. Съ другой стороны, городской житель приноситъ свои болѣе гуманные взгляды, къ которымъ неспособенъ коренной житель деревни.

„Зрѣлище труда тяжкаго и изнурительнаго, какимъ вообще представляется всякій трудъ деревенскій, совсѣмъ не такого свойства, чтобы производить умиляющее впечатлѣніе; напротивъ того, оно заставляетъ страдать даже и посторонняго человѣка, не принимающаго въ трудѣ непосредственнаго участія; здѣсь тяжесть слишкомъ наглядна, чтобъ дать мѣсто какимъ бы то ни было фантазіямъ, а потому на городского жителя, удосужившагося и самый трудъ свой поставить въ условія нѣкоторой комфортабельности, подобная египетская работа дѣйствуетъ раздражительно. Недодѣлки, недосмотры и лукавыя уклоненія со стороны рабочаго народа представляются до такой степени естественными, что и на нихъ, точно такъ же, какъ и на тѣ вселенскіе вопросы о потравахъ и проч., о которыхъ говорено выше, приходится смотрѣть сквозь пальцы. А между тѣмъ, судя по сказаніямъ свѣдущихъ людей, въ этихъ-то недодѣлкахъ и уклоненіяхъ и заключается именно вся сила деревенскаго дѣла... Никто не съумѣетъ такъ заставить работать, какъ мужикъ мужика. Только развѣ особое какое-нибудь соображеніе вынудитъ его на минуту отступить отъ своей аккуратности, но чувство снисхожденія все-таки не приметъ въ этомъ случаѣ никакого участія“...

Наконецъ, деревенское дѣло чрезвычайно разбросано.

Въ заключеніе авторъ полагаетъ, что горожанину

изъ всего деревенскаго дѣла остается только одно — собираніе грибовъ, и Салтыковъ даетъ трактатъ о разныхъ породахъ грибовъ и ихъ собираніи,—хотя и здѣсь горожанинъ находитъ неодолимое соперничество въ лицѣ деревенской бабы.

Далѣе, въ деревнѣ землевладѣльцу представляется случай наблюдать нравы простолюдиновъ, принять участіе въ ихъ играхъ и забавахъ, однимъ словомъ, заняться тѣмъ, что̀ называется сближеніемъ сословій. Но и это вовсе не легко. Во-первыхъ, простолюдинъ застѣнчивъ и не любитъ, чтобы за нимъ подглядывали; „онъ убѣжденъ, что для землевладѣльца его простолюдинскія игры слишкомъ мало изысканны, что онѣ оскорбляютъ его изящное чувство; и потому, какъ только подходитъ къ нему землевладѣлецъ, онъ исчезаетъ въ подворотню“. Съ другой стороны, и самому землевладѣльцу трудно вмѣшаться въ деревенскую среду: его появленіе смущаетъ, пѣсни прекращаются, и является точно укоръ вамъ, что вы смутили общее веселье. „И если въ васъ осталась хоть капля совѣстливости, вы повертите, повертите тросточкой и уйдете, поджавши хвостъ, домой... Надобно имѣть совершенно чугунный лобъ, чтобъ лѣзть туда, гдѣ васъ не спрашиваютъ, чтобы напоминать объ вашемъ существованіи людямъ, которые объ немъ если еще не забыли, то, во всякомъ случаѣ, вспоминать не любятъ“. Изъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ Салтыковъ извлекаетъ слѣдующее правило: „не затѣвай игру въ сближеніе сословій, ибо такая попытка поведетъ лишь къ безплодной тратѣ времени, конфузу и позднему раскаянію“.

Справедливость этого заключенія подтвердилась потомъ множествомъ фактовъ разнаго рода—литературныхъ, на-

родно-образовательныхъ и общественно-практическихъ. О сближеніи сословій съ тѣхъ поръ много говорилось въ литературѣ; въ молодыхъ поколѣніяхъ распространилось нѣсколько времени спустя такъ-называемое „хожденіе въ народъ“; много усерднаго труда положено было на распространеніе и улучшеніе народной школы,—но извѣстно, что тамъ, гдѣ предполагалась общественная взаимность, совмѣстное участіе людей образованныхъ и людей народа, происходило много печальныхъ или нелѣпыхъ недоразумѣній. Люди образованные руководились, конечно, желаніемъ принести пользу народу; послѣдній обыкновенно этой пользы не хотѣлъ понимать или искренно не понимал, и вообще относился недовѣрчиво или даже враждебно къ непрошеннымъ попечителямъ. Извѣстно, съ какимъ усердіемъ разработывалась лѣтъ десять тому назадъ эта тема о разладѣ народа и интеллигенціи, причемъ, наконецъ, послѣдняя подверглась обвиненію въ томъ, что *она* не понимаетъ народа, не умѣетъ дать ему то, что ему нужно, и т. д., а народъ изображался какъ вмѣстилище скрытой мудрости, недоступной профанамъ.

Дѣло было проще и заключалось именно въ томъ, что существующія условія общественнаго и народнаго быта, присоединяясь къ вѣками накопившемуся недовѣрію крѣпостныхъ рабовъ къ помѣщику и чиновнику, не допускали возможности прямыхъ междусословныхъ отношеній: то, что у другихъ народовъ не составляетъ никакого вопроса, что бываетъ обыкновеннымъ явленіемъ общественности, у насъ, вслѣдствіе всей старой исторіи и новѣйшей путаницы, становилось дѣломъ чрезвычайно труднымъ, даже невозможнымъ. Народъ не утратилъ историческаго недовѣрія къ высшему классу и покамѣстъ не

видѣлъ плодовъ „сближенія“, затѣяннаго людьми другого сословія, которое притомъ, въ его глазахъ, не было на то уполномочено ни учрежденіями, ни нравами; съ другой стороны люди, расположенные работать для народа, были въ самомъ обществѣ впередъ ославлены какъ неблагонамѣренные, и въ эту категорію попадали, между прочимъ, и самые невинные народники, какихъ было много; молва объ этомъ достигала до самой глухой деревни, а наконецъ этихъ людей, желавшихъ работать для народа, послѣдній просто „ловилъ“ для представленія по начальству... Салтыковъ видѣлъ это положеніе вещей съ самаго начала. Онъ слишкомъ хорошо зналъ нашу жизнь, наши административные и деревенскіе нравы и обычаи, чтобы видѣть всю пустоту начавшихся тогда толковъ о сближеніи сословій, для котораго послѣ крестьянской реформы не было сдѣлано почти ничего въ области народно-общественныхъ отношеній и школы, во всякомъ случаѣ ничего прямого и искренняго. Въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Салтыкова собрано множество подробностей, рисующихъ эту сторону нашей общественности.

Такимъ образомъ нашему землевладѣльцу не представляется въ деревнѣ никакого дѣла. „Правда, прежде было еще занятіе у русскихъ землевладѣльцевъ—это занятіе либеральничаньемъ, но нынѣшнимъ лѣтомъ оно прекратилось, ибо за симъ строго наблюдали „Московскія Вѣдомости“ и „День““.

Это либеральничанье, однако, прежде существовало въ немаломъ количествѣ, и Салтыковъ разсказываетъ:

„Извѣстно, что изъ млекопитающихъ всевозможныхъ породъ самымъ либеральнымъ всегда былъ и будетъ русскій землевладѣлецъ. Въ области свободомыслія и сво-

бодныхъ художествъ это просто ненасыть какой-то. Послушать ихъ, то всѣ эти реформы, которыя отчасти осуществились, а отчасти имѣютъ осуществиться, ко благу нашей родины, уже давнымъ давно бродили въ ихъ головахъ, и если не вышли оттуда во всеоружіи, то единственно потому, что общество, для котораго они измышляли свои проекты, еще не созрѣло, а созрѣло оно тогда, когда захотѣло того правительство. И въ доказательство указываютъ вамъ на такого-то А., который, еще при существованіи крѣпостного права, устроилъ *у себя* чуть-чуть не конституцію, или на такого-то Б., который, еще гораздо прежде отмѣны тѣлесныхъ наказаній, уже написалъ проектъ о замѣнѣ рылобитія устностью. Либерализмъ очевидный и тѣмъ болѣе похвальный, что самъ сознавалъ свою слабость, и потому заявлялъ себя съ полною скромностью".

Слѣдуетъ эпизодъ о помѣщикѣ Многоболтаевѣ, который въ подобномъ родѣ устроилъ у себя въ имѣніи „общественное управленіе" въ либеральномъ духѣ, съ представителями отъ деревенскихъ мужиковъ и съ президентомъ Иваномъ Парамонычемъ. Представители проводили время собственно въ томъ, что топили печи въ домѣ общественнаго управленія и по очереди были въ немъ сторожами; но представительство удержалось недолго; помѣщикъ жаловался, что его подданные не понимаютъ его учрежденій и вслѣдствіе того „велѣлъ Ивану Парамонычу дѣйствовать рѣшительно".

Итакъ, землевладѣльцу остается въ деревнѣ лѣниться и гулять. Само „сельское дѣло" есть дѣло невеселое. Постороннему зрителю можетъ показаться, что сельскія работы представляютъ красивую и привлекательную кар-

тину. „Вотъ, напримѣръ, мужички разсыпались группами по пашнѣ, рубашечки на нихъ бѣлыя, порточки синіе, вѣтеръ играетъ ихъ волосами, ходятъ они, ходятъ себѣ по пашенкѣ... ну, вотъ такъ и кажется, что гуляютъ! Или вотъ вамъ жнитво: опять живописныя группы поселянокъ въ длинныхъ бѣлыхъ рубашкахъ, быстрые и дружные взмахи серповъ, золотые колосья ржи... Господи! да никакъ и онѣ гуляютъ! Даже когда поселяне длинной вереницей тянутся на пашню съ навозомъ, даже и тогда можно скомпоновать очень миленькую картинку, потому что навозъ вѣдь на картинкѣ не пахнетъ".

„Но пускай зритель не слишкомъ увлекается очаровательной картиной, пускай онъ разъ навсегда убѣдитъ себя, что глаза его лгутъ, что художникъ, срисовавшій картину, тоже дѣлаетъ дѣло неправедное, и что въ сельской жизни нѣтъ ни прелестныхъ пейзажей, ни восхитительныхъ tableaux de genre, а есть тяжелый и невзрачный трудъ".

И въ объясненіе Салтыковъ даетъ описаніе нѣкоторыхъ сельскихъ работъ, переводя производство ихъ на тасканіе пудовыхъ тяжестей. Онъ задаетъ потомъ вопросъ, какъ чувствуютъ себя простолюдины при этихъ „упражненіяхъ"? Судя по тому, что, идя съ работы, поселяне поютъ („дерутъ") пѣсни, онъ заключаетъ, что эти упражненія не кажутся имъ горькими, и онъ это одобряетъ: во-первыхъ, пѣсни разнообразятъ деревенскую обстановку и услаждаютъ слухъ; во-вторыхъ, гораздо пріятнѣе, если поселяне простодушны и веселы, чѣмъ если они смотрятъ исподлобья и, сохрани Богъ, грубятъ. „Почти совершенное отсутствіе грамотности, думаю я, служитъ въ этомъ случаѣ прекраснѣйшимъ подспорьемъ для при-

данія простолюдину бодрости и содержанія его постоянно въ хорошемъ расположеніи духа. Ибо извѣстно, что какъ только простолюдинъ начинаетъ понимать буки-азъ-ба, то онъ въ то же время незамѣтно и постепенно наполняется ядомъ, такъ что когда дѣло дойдетъ до vжицы, то изъ прежняго кроткаго и довѣрчиваго весельчака образуется фіалъ, наполненный ехиднѣйшимъ ядомъ. Это не я первый говорю, это еще прежде меня выразилъ извѣстный знатокъ русской народности, г. Даль".

Надо замѣтить, что въ тѣ годы велась рѣчь о народной грамотности; послѣдняя, конечно, казалась необходимой людямъ, желавшимъ, чтобы освобожденная масса получила какую-нибудь возможность хотя бы элементарнаго образованія. Но въ числѣ отъявленныхъ противниковъ народной школы оказались, между прочимъ, старые ратоборцы за „народность", и въ числѣ ихъ особливо Даль. Само собою разумѣется, что противниками народной школы бывали и сами люди изъ народа, которые предпочитали пропивать случавшіяся свободныя мірскія деньги, чѣмъ отдать ихъ на школу. Автору привелось услышать объ этомъ предметѣ весьма категорическое заявленіе деревенскихъ людей. Понятно, что отзывы „самого народа" о ненужности для него школы вовсе не доказывали соображеній Даля, а только усиливали впечатлѣніе народной одичалости. Салтыковъ нисколько не обманывалъ себя въ этомъ отношеніи и старался указывать положеніе вещей такъ, какъ оно было. Слѣдуетъ въ его разсказѣ изображеніе обстоятельствъ деревенскаго пьянства, которое для деревенскихъ жителей, заваленныхъ работой и подавленныхъ невѣжествомъ, оставалось единственнымъ развлеченіемъ. Замѣчаетъ Салтыковъ и

упадокъ народной пѣсни, которую начинаетъ замѣнять отвратительный исковерканный романсъ. Онъ приводитъ образчикъ и замѣчаетъ: „Эта безсмыслица принимается самымъ серьезнымъ образомъ, и даже въ сію минуту, когда я пишу эти строки, до меня долетаютъ безобразные звуки хора, отхватывающаго „Настасью“.

„Странная судьба всего русскаго: даже для того, чтобы прослушать русскую пѣсню, надобно нанимать цыганъ“...

Общественная хроника появилась опять въ сентябрьской книгѣ. Салтыковъ предупреждалъ читателя, что будетъ говорить уже не тѣмъ безпечнымъ тономъ, какъ прежде, что „Современникъ“, въ которомъ онъ пишетъ свои замѣтки, бываетъ цвѣтущъ и здоровъ только тогда, когда небо безоблачно, фонды на биржѣ стоятъ твердо и въ обществѣ возникаютъ веселые вопросы и вопросцы къ общему благу; но онъ становится тощъ и бѣденъ, когда небо стоитъ грозное, когда въ дѣлахъ наступаетъ застой, а вопросы прячутся въ самую глубь общества, точно боятся, чтобы ихъ не окатило холоднымъ ливнемъ.

Картина положенія — знакомая. Съ тѣхъ поръ она не разъ повторялась въ нашей литературѣ, когда дѣйствительно холодный ливень прогонялъ „вопросы“ изъ области литературы. Что̀ наступало при этомъ, во что̀ превращалась литература, Салтыковъ разсказываетъ въ слѣдующихъ словахъ. „Въ такое неблагопріятное время свѣтлые литературные ручьи возмущаются, и на поверхности ихъ появляется неизвѣстно откуда берущаяся негодная накипь; въ такое время надъ словесною нивою рѣютъ жадныя стада литературнаго воронья и строго

блюдутъ за чистотой русской мысли и языка; темные духи, когда-то осмѣянные и опозоренные и вслѣдствіе того скрывшіеся на дно горшка, вновь заявляютъ о своей живучести, вновь выползаютъ изъ темницъ, и, появившись на свѣтъ божій, припоминаютъ старые счеты, забытыя кучи завалявшагося хлама начинаютъ двигаться и вопіять о поруганныхъ правахъ своихъ... Понятно, что простой и невинный литературный органъ, какъ „Современникъ“, органъ, чуждый какихъ бы то ни было политическихъ соображеній и преслѣдующій одну цѣль— исправленіе нравовъ, не можетъ не чувствовать себя неловко на этомъ странномъ пирѣ, гдѣ царствуетъ ревнивое соглядатайство и шумнымъ потокомъ ревутъ праздныя рѣчи“.

Въ неизмѣняющихся общихъ условіяхъ литературы естественно должны повторяться тѣ же явленія. Сколько разъ въ послѣднія десятилѣтія мы бывали свидѣтелями того, какъ рѣяли стада литературнаго воронья, какъ вновь заявляли о себѣ темные духи, когда-то осмѣянные и опозоренные, и поднимали старые счеты.

Но Салтыковъ находитъ въ этомъ явленіи свою полезную и даже утѣшительную сторону. Во-первыхъ, это зрѣлище научаетъ съ меньшею строгостью относиться къ людямъ, занимающимся такъ-называемыми вопросцами: эти вопросцы составляютъ, собственно говоря, пустяки, но они, по крайней мѣрѣ, имѣютъ призракъ содержанія и внушаютъ гадливость къ міру бездѣльничества и сплетенъ. Съ другой стороны, примиряя съ лиллипутами нашей общественности, это зрѣлище побуждаетъ строже относиться къ тѣмъ дѣйствительнымъ источникамъ злокозненности, относительно которыхъ мы были слишкомъ робки

и податливы. Но придетъ когда-нибудь лучшее время: „уймутся дожди, просвѣтлѣетъ хмурое небо, и всѣ эти пузыри лопнутъ, всѣ эти бѣлые, здоровенные дождевики мгновенно позеленѣютъ и обратятся въ прахъ“...

Читатель долженъ былъ ожидать отъ автора отчета за протекшее лѣто, но авторъ затрудняется,—потому что имѣетъ право быть только игривымъ, но есть предметы, къ которымъ относиться игриво нельзя. „Поэтому, для того, чтобы составить хронику,—говоритъ Салтыковъ,—я обязываюсь прибѣгнуть къ самодѣятельности моего духа, или иначе, выдумывать такія дѣла, какихъ никогда и на свѣтѣ не бывало, и какія могутъ существовать только въ человѣческомъ воображеніи, доведенномъ до совершенно порожняго состоянія. Понятно, что вымыслы мои будутъ кратки, отрывисты и безсвязны, понятно, что они будутъ только печальнымъ порожденіемъ необходимости періодически что-нибудь измышлять для утѣшенія праздныхъ читателей“. Но выдумывать очень трудно. Какъ ни высоко паритъ моя мысль,—говоритъ Салтыковъ,—она никакъ не можетъ сравняться съ пареніемъ г-жи Павловой или того стихотворца „Русскаго Вѣстника“, который произнесъ слѣдующіе два стиха:

И тянется лѣсокъ широкой, темной гранью
По скошеннымъ лугамъ, по золоту полей,
Брожу задумчивый“...

Авторъ положительно не дерзаетъ подниматься на высоту подобнаго паренія. „Не знаю, какъ это дѣлается, но мысль моя дѣйствительно сгоряча взвихрится и взмоетъ, какъ голубь, кверху, а потомъ нѣтъ-нѣтъ да и опустится опять на землю. Тутъ ее, голубушку, и сцарапаютъ“... Его положительно „убиваютъ факты“. Они бываютъ по-

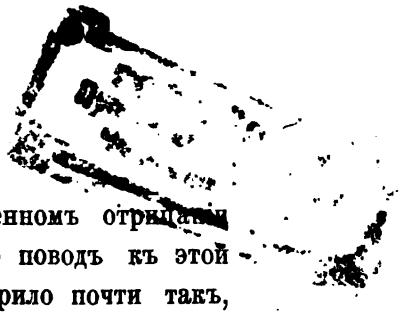
хвальные и вредные, и отдѣлаться отъ нихъ нѣтъ возможности. Онъ предполагаетъ однако, что есть средства постепенно укрѣпить духъ до такой степени, что факты совсѣмъ перестанутъ на него дѣйствовать. Онъ нашелъ эти средства въ тогдашней литературѣ: одно изъ нихъ есть извѣстный романъ Писемскаго „Взбаламученное море“, другое—газета „День“. „Нѣтъ сомнѣнія, что тотъ, кто въ состояніи выдержать нѣсколько такихъ чтеній (какъ романъ), кто исподволь пріучитъ себя къ той атмосферѣ, которая лучеобразно отъ него распространяется, тотъ можетъ сказать съ увѣренностью, что укрѣпилъ свой духъ до того, что и запахъ гутуевскихъ боенъ на него не подѣйствуетъ“. Другое средство—упомянутая газета. „Все прошлое лѣто я предавался усиленному чтенію „Дня“, все лѣто старался проникнуть въ смыслъ таинственныхъ загадокъ, печатаемыхъ на его страницахъ, и наконецъ-таки проникнулъ. Я понялъ, во-первыхъ, что̀ такое „духъ жизни“, и что̀ такое „жизнь духа“, и во-вторыхъ я понялъ, что формально нѣтъ никакой трудности говорить о предметахъ, вовсе не говоря объ нихъ, что̀ собственно и составляло предметъ моихъ поисковъ. Сила, которая попускаетъ человѣка совершать подобные подвиги, называется силою краснорѣчія, и центральное ея депо находится въ „Днѣ“.—Этотъ послѣдній вопросъ кажется Салтыкову столь серьезнымъ, что онъ посвящаетъ ему особый трактатъ. Преподаватели реторики повторяютъ извѣстныя слова: poëtae nascuntur, oratores fiunt; но опытъ указываетъ, по его словамъ, что сдѣлаться ораторомъ нельзя, не родившись имъ, какъ нельзя сдѣлаться лгуномъ безъ врожденнаго расположенія. „Сущность краснорѣчія заключается въ томъ, чтобы совершать

несовершимое и прозрѣвать туда, гдѣ ничего въ волнахъ не видно; понятно, что для выполненія такого подвига нужно, чтобы въ этомъ принимала участіе сила совершенно независимая, сила сама себя питающая и сама же себя поѣдающая. Такою силою и является именно краснорѣчіе или, лучше сказать, искусство вести такія устныя и письменныя бесѣды, которыя выслушиваются и прочитываются съ пріятностью, но въ которыхъ между тѣмъ нѣтъ никакой возможности найти что-либо похожее на мысль". Такимъ образомъ, краснорѣчіе можетъ быть безсодержательно, и реторическія фигуры заключаются въ насъ самихъ. У тебя можетъ не быть никакихъ чувствъ, ни дурныхъ, ни хорошихъ, но если ты хочешь выказать возвышенную душу, то можешь достигнуть этого, прибѣгнувъ къ фигурѣ единоначатія и усугубленія; если хочешь быть остроуменъ, можешь прибѣгнуть къ фигурѣ умолчанія и воздержанія и т. д. И такъ какъ реторика вамъ врождена, то производить это ничего не стоитъ.

Авторъ дѣлаетъ подобный реторическій опытъ на тему: „Не знаю, извѣстно ли вамъ, читатели, какую эпоху переживаетъ въ настоящее время Россія?" Собственно говоря, эта фраза есть одно празднословіе—потому что Россія всегда переживаетъ какую-нибудь эпоху,— но съ точки зрѣнія краснорѣчія подобный приступъ заслуживаетъ всякаго поощренія, такъ какъ представляетъ совершенно правильную фигуру устрашенія; получается отличная рамка, которую можно наполнять дальше произведеньями реторики. „Я могу сказать, напримѣръ, что если вамъ это извѣстно, то, конечно, вы не разъ испытывали, не разъ ощущали, не разъ себя вопрошали (фигура взволнованной души); но съ другой, — ничто мнѣ

не мѣшаетъ задаться мыслью, что это обстоятельство вамъ неизвѣстно, и въ такомъ случаѣ я получу возможность осыпать васъ укоризнами и сказать, что вы оторваны отъ почвы и стоите корнями вверхъ (фигура патріотическаго уязвленія). Обыкновенно это дѣлается такъ: если вы петербуржецъ, то предполагается, что вамъ ничего неизвѣстно, и что вы стоите корнями вверхъ; если вы москвичъ, то предполагается, что вамъ извѣстно все, и что вы не разъ задумывались, не разъ ощущали, не разъ себя вопрошали и т. д. Все это, разумѣется, съ моей стороны, не больше, какъ произвольное предположеніе, ибо я самъ отлично хорошо знаю, что все это я выдумалъ, что вы, какъ и я же, стоите корнями внизъ, и что, наконецъ, вы, какъ двѣ капли воды, точь въ точь такой же россіянинъ, какъ и я самъ; но я нарочно притворяюсь, что все сіе мнѣ неизвѣстно, потому что такого притворства требуетъ моя реторическая сущность. Вы скажете, быть можетъ, что такой образъ дѣйствія равняется толченію воды, что онъ даже не похваленъ, потому что взводитъ на сѣверную Пальмиру обвиненіе въ несуществующемъ преступленіи; на это я отвѣчу: что же мнѣ дѣлать! Изъ меня такъ и выпираетъ тропами и фигурами: не проквасить же мнѣ ихъ, въ самомъ дѣлѣ, на днѣ взволнованной души!“

Такимъ образомъ проповѣдь газеты Ив. Аксакова была въ глазахъ Салтыкова только безсодержательнымъ упражненіемъ въ краснорѣчіи. Послѣдователи славянофильства должны были придти въ негодованіе отъ этого опредѣленія, какъ отъ крайняго непониманія, и дѣйствительно въ то время и послѣ самъ Аксаковъ и его послѣдователи не однажды говорили съ величайшей враждой и



презрѣніемъ о подобномъ легкомысленномъ отрицаніи ихъ идей. Но славянофильство давало поводъ къ этой насмѣшкѣ. Оно въ самомъ дѣлѣ говорило почти такъ, какъ это представляетъ Салтыковъ: это высокомѣрное выдѣленіе избранныхъ людей, какими считали себя славянофилы, притязаніе на національную непогрѣшимость рядомъ съ ребяческими и вмѣстѣ фальшивыми вылазками противъ „Петербурга“ и всего „петербургскаго“, когда притомъ не говорилось пока ничего, что̀ бы было дѣйствительнымъ протестомъ, вытекающимъ именно изъ спеціальной славянофильской точки зрѣнія; наконецъ языкъ, почти всегда высокопарный, ненужно надутый—все это вмѣстѣ способно было производить то впечатлѣніе, какое выразилъ Салтыковъ. Его отзывы не могутъ остаться окончательной характеристикой славянофильства; но въ немъ указаны дѣйствительно слабыя его стороны, которыя на дѣлѣ мѣшали развитію этого направленія и привели къ его упадку — въ его старомъ, первоначальномъ видѣ. Славянофильство витало въ особомъ кругѣ представленій, созданныхъ книжнымъ теоретическимъ образомъ и которыхъ оно держалось съ упорствомъ исключительнаго кружка, понима́я жизнь съ точки зрѣнія своихъ искусственныхъ формулъ, высокомѣрно относясь къ другимъ направленіямъ, въ которыхъ, однако, отражались весьма законныя стремленія русскаго общества,— и въ концѣ концовъ оно стало партіей, прекратившейся вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ сходили съ поприща ея дѣятели. По смерти Ивана Аксакова, всеобщій голосъ и противниковъ, и друзей, находилъ, что съ нимъ окончилось то чистое славянофильство, котораго онъ былъ послѣднимъ представителемъ, и основанія котораго онъ былъ свидѣ-

телемъ въ годы юности. Исторія скажетъ, безъ сомнѣнія, что при всей исключительности и крайностяхъ оно было важнымъ и плодотворнымъ явленіемъ въ исторіи нашей общественности; но если оно, такъ сказать, вымерло вмѣстѣ съ своими дѣятелями, причиной тому были тѣ недостатки, которые бросались въ глаза Салтыкову въ первые же годы публицистической дѣятельности Ивана Аксакова. Впослѣдствіи, если не ошибаемся, Салтыковъ уже не возвращался къ прямому спору съ славянофильствомъ, затрогивая лишь отдѣльныя проявленія, носившія печать этой школы; но безъ сомнѣнія онъ навсегда остался при томъ взглядѣ, какой онъ изложилъ въ эпизодахъ, посвященныхъ газетѣ „День“ въ разбираемыхъ нами статьяхъ. Дальнѣйшая борьба противъ этого направленія могла казаться ему излишней.

Какъ замѣчено выше, Ив. Аксаковъ въ первые годы изданія „Дня“, для пущаго изобличенія той части русскаго общества, которую онъ считалъ оторвавшеюся отъ народа (и это было почти все русское общество безъ исключенія), придумалъ для нея названіе „Русляндіи“, которое казалось ему очень ядовитымъ. Для Салтыкова эта „Русляндія“ была опять только реторическимъ празднословіемъ. Продолжая приведенную выше тему о тропахъ и фигурахъ, Салтыковъ ставитъ себя на мѣсто издателя „Дня“ и разсуждаетъ: „Предположимъ, что я начинаю свое обозрѣніе такимъ образомъ: „Милостивые государи! Русляндія заслоняетъ отъ нашихъ глазъ истинную, православную, святую нашу Русь“; я опять-таки знаю, что и это я выдумалъ, что Русляндіи никакой нѣтъ, что и Русь была да сплыла, а есть Россія, которую никто и ничто, по причинѣ и обширности сю-

жета, заслонить не можетъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ я знаю также, что такое начало навѣрное даетъ мнѣ возможность со всею безопасностію помѣстить въ моемъ обозрѣніи и фигуру взволнованной души, и фигуру патріотическаго уязвленія, — именно тѣ двѣ ужасныя фигуры, которыя преимущественно точатъ мое реторическое существованіе. И вотъ я начинаю пространно объяснять, что̀ такое Русляндія, и что̀ такое Русь; изъ объясненій моихъ выходитъ, что Русляндія есть нѣчто такое, что̀ заслоняетъ Русь, а Русь есть нѣчто такое, что̀ заслоняется Русляндіей,—больше, клянусь, ничего не выходитъ. Но это нимало меня не смущаетъ, ибо, въ сущности, я совсѣмъ не о томъ и забочусь, чтобы изъ моего краснорѣчія что-нибудь выходило, а о томъ только, чтобы сказать нѣсколько „жалкихъ словъ“, и чтобы при этомъ состояло на-лицо самое краснорѣчіе. Я знаю, что всегда найдутся люди, которые ни одного жалкаго слова безъ умиленія проглотить не могутъ,—на нихъ-то я и разсчитываю“.

Салтыковъ приводитъ другой примѣръ. „Я, напримѣръ, могу сказать:—„дѣло русскаго народа—мое дѣло; знамя русскаго народа—мое знамя: я русскій“. Но дѣло въ томъ, что если попросятъ растолковать эти слова, то останется опять отвѣчать: „дѣло русскаго народа—мое дѣло“ и пр. И напрасно вы будете говорить мнѣ, что понятіе о „знамени“—понятіе сбивчивое; что въ узаконеніяхъ насчетъ этого прямыхъ указаній нѣтъ, а ученые спеціалисты находятся по этому случаю въ постоянномъ другъ другу противорѣчіи и даже въ жестокой взаимной враждѣ. Напрасно будете вы говорить, что одно знамя вручаетъ русскому народу Б. Н. Чичеринъ,

другое—М. Н. Катковъ, третье—А. А. Краевскій (А. А. полагаетъ, что можно совсѣмъ безъ знамени, но вѣдь и это тоже своего рода знамя). Все это извѣстно мнѣ никакъ не менѣе вашего, но интересы моего реторическаго существа заставляютъ меня забыть на время эти соображенія и притвориться невѣждою".

Дальше Салтыковъ дѣлаетъ даже весьма желчныя замѣчанія. Ставя себя опять на мѣсто предполагаемаго ритора, изобрѣвшаго Русляндію, онъ говоритъ: „Буду откровененъ: хоть я и ратую противъ Русляндіи, но, въ сущности, она мнѣ совсѣмъ не противна. Мнѣ даже жаль, что она смотритъ на меня искоса; я даже увѣренъ, что это происходитъ отъ недоразумѣнія, потому что дай она мнѣ высказаться до конца, она увидѣла бы сама, что мы съ нею желаемъ одного и того же. Чего я желаю? чего добиваюсь? Я желаю и добиваюсь для себя только одного: чтобы мнѣ не препятствовали употреблять слово: „Русляндія"—что же можетъ быть невиннѣе этого желанія! Предположите даже, что это съ моей стороны капризъ, отчего же не допустить и каприза, если онъ никому не наноситъ вреда? Говорятъ будто я смотрю какъ-то исподлобья, какъ будто чѣмъ-то недоволенъ, какъ будто желаю произвести какой-то „хаосъ—кавардакъ"! да поймите же, наконецъ, что это съ моей стороны только будированіе, что это просто милая шалость, результатъ желанія занять какое-нибудь положеніе въ обществѣ. Сегодня я будирую, завтра прихожу, въ восторгъ, послѣ-завтра опять будирую, потомъ опять прихожу въ восторгъ... Вотъ и все. Опасности здѣсь никакой не можетъ быть, ибо и будированія, и восторги—въ сущности, выражаютъ лишь мой „духъ жизни"—и

больше ничего... Вспомните тѣхъ русскихъ баръ, которые, во время оно, отъѣзжали, за ненадобностью, въ Москву,—развѣ они не будировали? развѣ не выражали они свою „жизнь духа“? но развѣ имъ запрещалось это? развѣ кто-нибудь опасался ихъ?“

Закончивъ эти разсужденія, Салтыковъ предупреждаетъ читателя не думать, чтобы все здѣсь разсказанное авторомъ онъ видѣлъ во снѣ. Это настоящая дѣйствительность: всѣ приведенныя подробности изложены въ передовыхъ статьяхъ газеты „День“. Чтобы еще нагляднѣе представить характеръ этой газеты, Салтыковъ прибѣгаетъ къ сравненію. Онъ любилъ газету „День“: „въ немъ было нѣчто свѣжее, напоминавшее хорошо сохранившуюся среднихъ лѣтъ дѣвицу. Несмотря на достаточныя лѣта, эта дѣвица еще неопытная, сберегшая во всей чистотѣ свои институтскія убѣжденія; она во многомъ не отдаетъ себѣ отчета, и рѣшительно не можетъ себѣ объяснить, чего хочетъ и къ чему именно стремится, но въ то же время и во снѣ, и на-яву чувствуетъ, что кто-то ее хватаетъ, кто-то подманиваетъ, а потому не хотѣть и не стремиться не можетъ. Это придаетъ какую-то трогательную задумчивость всѣмъ ея движеніямъ и сообщаетъ ея душевнымъ помысламъ то кроткое постоянство, которое заставляетъ ожидать жениха даже тогда, когда нѣтъ никакой надежды на его появленіе. Такой органъ, отъ котораго всегда пахло бы чѣмъ-то кисленькимъ, рѣшительно необходимъ въ литературѣ“,— онъ нуженъ какъ нейтральная почва, на которой можно отдохнуть, какъ воспоминаніе дѣтства.

Мы замѣчали, что эти отзывы Салтыкова не были лишены основанія. То, что называетъ Салтыковъ красно-

рѣчіемъ—и въ чемъ почитатели Ивана Аксакова видѣли его высокій талантъ, дѣйствительно сопровождало всю публицистическую дѣятельность послѣдняго славянофила: онъ бывалъ краснорѣчивъ въ настоящемъ смыслѣ слова, когда предметъ его разсужденій былъ прямой, осязательный предметъ, настоящій интересъ общества; но нерѣдко впадалъ и въ то реторическое, не всегда даже безвредное, празднословіе, на которое нападалъ Салтыковъ. Термины, какъ „духъ жизни“, „жизнь духа“ и т. п., становились простой игрой словъ, которую некуда было пріурочить въ настоящей дѣйствительности. Жизнь проходила мимо этого краснорѣчія, и это была какъ бы отплата за исключительность кружка, который въ своемъ высокомѣріи не хотѣлъ даже знать, что творится внѣ его, что значитъ то броженіе, которое совершалось кругомъ, и въ концѣ концовъ переставалъ понимать окружающее. Салтыковъ вѣрно понялъ эту слабую сторону славянофильства, которому именно недоставало простого реальнаго пониманія дѣйствительныхъ фактовъ жизни народной и общественной. Въ самомъ дѣлѣ, что значили эти толки о Русляндіи, надъ которыми смѣялся Салтыковъ, объ оторванности отъ народа интеллигенціи, которую Аксаковъ изображалъ въ видѣ упомянутаго форрейтора [1]). Это было близко къ празднословію, потому

[1]) Салтыковъ дѣлаетъ объ этомъ сравненіи такое замѣчаніе:

„У „Дня“ есть еще одна особенно замѣчательная фигура, называемая фигурою форрейтора. Въ одной изъ своихъ руководящихъ статей онъ сравниваетъ Русляндію съ форрейторомъ, который, не чувствуя, что постромки, привязывавшія выносныхъ лошадей къ экипажу, давно лопнули, мчится сломя голову впередъ и впередъ. Натурально, экипажъ (экипажъ представляетъ собою „древнюю, православную, святую нашу Русь“) загрузъ, а Русляндія, налетѣвши на косогоръ, вывихнула себѣ шею. Положеніе драматическое, но для обѣихъ сторонъ равно непользительное. Замѣчательнѣе

что, во-первыхъ, нельзя было отдѣлываться шуточными выдумками отъ вопроса, если онъ былъ такъ важенъ, а во-вторыхъ мысль была ошибочна въ самомъ основаніи, потому что, наконецъ, порядокъ вещей, отрицаемый доктриной, былъ исторически созданъ самимъ народомъ. Съ другой стороны, доктрина не была выдержана: извѣстно, какъ свободолюбивое, въ теоріи, ученіе совпадало иногда съ направленіемъ „Московскихъ Вѣдомостей“, и народный интересъ смѣнялся иногда интересами крупной промышленности; наконецъ, не однажды можно было недоумѣвать, противъ чего собственно направлялось недовольство славянофильской публицистики и съ кѣмъ она входила въ союзъ, когда ратовала противъ либерализма?

Салтыковъ сомнѣвался, чтобы „День“ (или Ив. Аксаковъ) когда-нибудь пришелъ къ чему-либо болѣе ясному и положительному. „Мнѣ кажется, что если онъ дастъ себѣ трудъ хорошенько размыслить, то непремѣнно придетъ къ убѣжденію, что эти переходы отъ будированья къ восторженности и отъ восторженности къ будированію не заключаютъ въ себѣ ничего поучительнаго, что здѣсь сегодняшняя восторженность служитъ лишь обильнымъ источникомъ будущихъ будированій. Онъ пойметъ, что нѣтъ той силы обстоятельствъ, которая могла бы столкнуть мысль (если только есть мысль) съ того логическаго пути, на которомъ она стала. Онъ пойметъ... но нѣтъ, онъ ничего не пойметъ! Онъ не пойметъ уже по тому одному, что въ раздвоеніи мысли именно и заключается та сила, которая позволяетъ ему быть краснорѣчивымъ во всякое время“.

всего, что Русляндія постоянно обвиняется въ томъ, что безъ оглядки скачетъ „впередъ“... Каковъ скакунъ!“

Салтыкову приходилось спорить съ газетой „День“ и по различнымъ частнымъ вопросамъ. Иванъ Аксаковъ, подъ псевдонимомъ Касьянова, однажды съ негодованіемъ разсказывалъ о недостойномъ поведеніи русскихъ „гуляющихъ людей“, какъ онъ ихъ называлъ, за границей, гдѣ они не только не умѣютъ поддержать русскаго національнаго достоинства, но даже нимало не чувствуютъ его, и передъ иностранцами стыдятся того, что они русскіе. Между прочимъ Касьяновъ разсказалъ безсмысленныя приключенія одного нашего соотечественника въ Парижѣ, именно въ Баль-Мабилѣ. Дѣло было во время польскаго возстанія. Касьяновъ язвительно разсказывалъ: Баль-Мабиль очень сочувствуетъ полякамъ, — очень; всѣ гризетки преклоняются предъ общественнымъ мнѣніемъ, вся канканирующая и неканканирующая публика повторяетъ, какъ истину, о которой уже и не спорятъ, что Франція, toujours si libérale, si généreuse, должна помочь „народу мученику“ и освободить его отъ *варваровъ*...

„Варваръ! Чего не дѣлали мы, чтобъ попасть въ другой чинъ, сколько поклоновъ и милліоновъ потрачено, чтобы заслужить повышенія въ европейцы, чтобы *своими* сочла насъ Европа,—ничтò не беретъ! Чуть чтò задѣнетъ ее за живое, все старое выплываетъ вновь, и опять—„казакъ“, „кнутъ“, „варваръ“ на языкѣ у каждаго француза отъ пляшущаго на балахъ Тюильери до пляшущаго въ Баль-Мабилѣ“.

Нашъ соотечественникъ чѣмъ-то далъ угадать, что онъ русскій; толпа накинулась на него, сбила съ него шляпу, на него посыпались пинки, и онъ отрекся отъ своего отечества; на вопросъ, кто же онъ такой,—онъ сказалъ, что онъ полякъ, и тогда толпа выгнала его съ

бала, потому что поляку неприлично плясать въ Парижѣ, когда его братья дерутся за отечество. Таково было глупое приключеніе, и Касьяновъ выводилъ изъ него и другихъ подобныхъ весьма печальное заключеніе: русскимъ остается или бѣжать домой изъ-за границы, или отрекаться отъ своего отечества... Салтыковъ, напротивъ, не находилъ здѣсь никакого повода печалиться: какое дѣло Россіи до этихъ русскихъ гулящихъ людей, которые представляютъ скорѣе комическій, чѣмъ меланхолическій сюжетъ. Упомянутый соотечественникъ, по словамъ Салтыкова, былъ только опрометчивъ и „по милости своей опрометчивости единовременно получилъ возмездіе за двѣ національности. То-то онъ изумился! А между тѣмъ дѣло могло бы кончиться весьма просто и даже не безвыгодно для него, еслибы онъ не лгалъ, а просто-на-просто заявилъ канканирующему міру настоящую истину. Напримѣръ, еслибы онъ сказалъ: „messieurs! я не русскій и не полякъ — я просто желудочно-половой космополитъ“; онъ сказалъ бы сущую правду, и въ то же время обезоружилъ бы негодующихъ гризетокъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь это все равно, какъ бы онъ сказалъ: господа! вы ошибаетесь, я просто гороховый шутъ! Развѣ есть такая нація? развѣ есть такой народъ, который бы называлъ дѣтей своихъ гороховыми шутами? Гризетки потолковали бы между собою, переглянулись бы, да и пошли бы себѣ канканировать, какъ ни въ чемъ не бывало. И бока были бы цѣлы, и отечество осталось бы въ сторонѣ“.

Но затѣмъ Салтыковъ начинаетъ размышлять объ общемъ вопросѣ. Онъ понимаетъ, что во времена Фонъ-Визина и даже Гоголя русскіе гулящіе люди имѣли хотя ложно понятые, но все-таки какіе-то резоны относиться

равнодушно къ своему отечеству: у нихъ не было гласности, они не имѣли никакого понятія о самоуправленіи и т. д., и лишенный всѣхъ этихъ благъ человѣкъ чувствовалъ себя оторваннымъ отъ родины... Совсѣмъ иначе чувствуетъ себя, напримѣръ, англичанинъ, который держитъ себя гордо и самоувѣренно, почему?—„а потому именно, что знаетъ, во-первыхъ, что типъ этотъ нѣчто выработалъ не только для своей родной страны, но и въ общечеловѣческомъ смыслѣ, и во-вторыхъ, что онъ самъ лично въ этой общей работѣ совсѣмъ не пятая спица въ колесницѣ, а, напротивъ того, прямой ея участникъ и дѣлатель". Подобнымъ образомъ въ другой формѣ держитъ себя русскій мужикъ; ему не придетъ въ голову стыдиться, что онъ русскій—опять потому, что онъ занятъ дѣломъ и считаетъ себя необходимымъ дѣятелемъ въ русской семьѣ. Одинъ русскій гулящій человѣкъ шатается безъ дѣла: „Въ отношеніи къ иностранцамъ онъ чувствуетъ, что какъ будто что-то укралъ; въ отношеніи къ своимъ чувствуетъ, что какъ будто что-то продалъ. Одиноко носится онъ съ своимъ чревомъ по Европѣ, приводя въ изумленіе своею плотоядностью и веселою похотливостью своихъ нравовъ".

Но если подобныя явленія были бы понятны во времена Фонъ-Визина и Гоголя, то въ наше время Салтыковъ недоумѣваетъ, какъ ихъ объяснить. Теперь у насъ существуетъ гласность; „у насъ совершилась, безъ разговоровъ, одна изъ величайшихъ реформъ, какія въ другихъ странахъ никогда безъ разговоровъ не совершались"; у насъ обнародованы основныя положенія устнаго и гласнаго судопроизводства; чего же еще больше? „Можемъ ли сказать, что у насъ скучно—нѣтъ, намъ ука-

жутъ, что въ одномъ Петербургѣ развелось прошлой зимой до 60 танцклассовъ, и что никто не препятствуетъ завести таковые въ Корчевѣ и въ Арзамасѣ! Можемъ ли сказать, что мы стѣснены—нѣтъ, мы имѣемъ право хоть цѣлый день проводить въ халатѣ! Можемъ ли сказать, что наше возрожденіе — дѣло намъ чуждое, что насъ не привлекаютъ и т. д.—нѣтъ, мы имѣемъ право и бесѣдовать, и даже излагать свои мысли письменно".

Но предметъ такъ любопытенъ, что Салтыковъ рѣшается изслѣдовать его до конца. Салтыковъ сожалѣетъ, что Касьяновъ не объяснилъ, изъ какого разряда людей былъ нашъ упомянутый соотечественникъ. Съ легкой руки Тургенева,—говоритъ Салтыковъ,—наше общество распалось на двѣ половины: на отцовъ и дѣтей, и Салтыковъ не сомнѣвается, что это былъ одинъ изъ числа отцовъ. Разбирая всѣ обстоятельства дѣла—мѣсто дѣйствія (Баль-Мабиль), психологическое настроеніе отцовъ, процвѣтавшихъ во времена крѣпостного права и на его почвѣ развившихъ свои нравственныя качества, Салтыковъ приходитъ къ убѣжденію, что этотъ дѣятель былъ именно изъ разряда людей, которыхъ прежняя жизнь на лонѣ крѣпостного самодурства оставила свободными отъ всякихъ серьезныхъ интересовъ, безъ всякой мысли объ обязанностяхъ къ своему обществу, и теперь сохранила еще матеріальныя средства для странствій по увеселительнымъ мѣстамъ Европы. Это былъ одинъ изъ исходовъ стараго быта, доживавшаго послѣдніе дни.

Въ послѣдней хроникѣ 1863 года (ноябрь) Салтыковъ даетъ нѣсколько очерковъ на разныя темы тогдашней общественной жизни. Одною изъ этихъ темъ была знаменитая картина Ге, о которой тогда много говорили. Салтыковъ предупреждаетъ, что онъ судитъ о ней какъ профанъ, какъ человѣкъ изъ толпы, не берется оцѣнивать ея художественныхъ качествъ и высказывается только объ общемъ впечатлѣніи. Картина ему понравилась именно простотой отношенія художника къ сюжету. Тема картины приводитъ его къ вопросу о толпѣ, о томъ, чѣмъ опредѣляется ея обычная жизнь, и не нуждается ли она во вразумленіи... Въ теоретическихъ взглядахъ Салтыкова была извѣстная доля если не скептицизма, то недовѣрчиваго отношенія къ ходячимъ историческимъ формуламъ, но во всякомъ случаѣ онъ давалъ великое значеніе тѣмъ идеалистическимъ элементамъ жизни, присутствіе которыхъ на дѣлѣ гораздо меньше цѣнилось тѣми, которые его считали скептикомъ.

„Толпа“ представляется Салтыкову достаточно грубой массой, которая, „какъ только дѣло выходитъ изъ области интересовъ чисто-матеріальныхъ, почти всегда находится въ недоумѣніи, если не въ глубокомъ невѣжествѣ“. „Толпа очень хорошо усвояетъ себѣ смыслъ явленій, зарекомендовывающихъ себя непосредственными, осязаемыми результатами, но съ недовѣрчивостью и робостью относится къ такимъ явленіямъ, которыя хотя шире и глубже захватываютъ основы жизни, но еще не подходятъ подъ положительныя опредѣленія и представляютъ собой то, что̀ извѣстно подъ общимъ наименованіемъ „стремленій“, „мечтаній“ и „предвидѣній“. Толпа отчетливо понимаетъ выгоды, которыя представляютъ хорошо устроенные пути

сообщенія передъ дурными, дешевизна производства передъ его дороговизною, легкій налогъ передъ тяжелымъ, но она положительно хлопаетъ глазами и недоумѣваетъ, когда до слуха доходятъ такія выраженія, какъ „убѣжденіе“, „право“ и тому подобное. Мнѣ скажутъ, быть можетъ, что такое свойство толпы служитъ лишь доказательствомъ здраваго ея смысла, препятствующаго ей гоняться за призраками“.

Но это очень жалкій здравый смыслъ. Вопросъ не въ томъ, что̀ толпа считаетъ пустяками, чего чуждается и что̀ принимаетъ, а въ томъ, можетъ ли она остаться навсегда при своей непосредственности. Въ самой толпѣ колебанія ея собственной жизни выдвигаютъ ее изъ состоянія непосредственности въ такую же область мечтаній и призраковъ, и потому она нуждается въ поученіи и во вразумленіи. Она можетъ не понимать самыхъ высокихъ нравственныхъ подвиговъ и ей необходимо напоминать о „призракахъ“, въ особенности тогда, „когда она поголовно шалѣетъ и начинаетъ думать, что самъ чортъ ей не братъ“. Въ такія минуты,—говоритъ Салтыковъ,—человѣкъ толпы охотно прикидывается матеріалистомъ и еще охотнѣе смѣшиваетъ матеріализмъ съ чревоугодничествомъ. Въ такія минуты именно развивается алчность, и люди начинаютъ думать, что такъ называемыя убѣжденія могутъ съ успѣхомъ быть замѣнены „развязными манерами“. „Да, въ такія минуты дѣйствительно нѣчто упраздняется, но это „нѣчто“ есть именно тотъ характеръ человѣчности, который сообщаетъ жизни всю ея цѣну и смыслъ. А на мѣсто упраздненнаго просто-на-просто выступаетъ на сцену темное хищничество“.

И вслѣдъ затѣмъ Салтыковъ говоритъ объ идеальномъ содержаніи жизни—страницы, любопытныя для характеристики его общихъ воззрѣній. Рѣчь идетъ именно о томъ идеализмѣ, который столько разъ въ немъ отрицали, который будто бы исчезалъ у него подъ его желчнымъ настроеніемъ (иные, враги его, говорили: подъ его бюрократической сухостью!) и который на дѣлѣ былъ, напротивъ, глубочайшей чертой его писательской дѣятельности. Въ предыдущихъ строкахъ подъ названіемъ „призраковъ“ онъ разумѣлъ именно идеалы, которые кажутся призраками людямъ мнимо серьезнымъ и положительнымъ. То, что онъ говоритъ здѣсь, составляетъ, очевидно, его собственное глубокое убѣжденіе.

„Итакъ,—продолжаетъ онъ начатую рѣчь объ идеалахъ,—твердить и напоминать массамъ, что жизнь еще совсѣмъ не такъ твердо сложилась, чтобы исключить необходимость и полезность тѣхъ отвлеченныхъ представленій, которыя въ понятіяхъ толпы неправильно слывутъ подъ названіемъ призраковъ, далеко не излишне. Эти „призраки“ пріучаютъ насъ мыслить, разоблачаютъ передъ нами неустойчивость краеугольныхъ камней, на которые мы привыкли опираться, и возбуждаютъ въ насъ ту горячую жажду дѣятельности, которая составляетъ единственный разумный признакъ жизни, еще не установившейся и ищущей естественнаго своего ложа. Въ извѣстныя эпохи жизни идеализмъ, несмотря на всю спорность своего содержанія, есть все-таки высшая и самая пригодная форма человѣческой дѣятельности... Даже фанатизмъ — и тотъ далеко не бо̀льшее изъ всѣхъ разнообразныхъ золъ, которыя могутъ тяготѣть надъ обществомъ; самое горькое зло, самая безвыходная пагуба,

это — отсутствіе руководящей мысли, отсутствіе убѣжденія... Не то общество — самое близкое къ погибели, которое вянетъ и задыхается подъ гнетомъ фанатизма, а то, которое, еще не живши, уже считаетъ себя отжившимъ. Изъ фанатизма есть возможность выхода, фанатизмъ, наконецъ, самъ себя изнашиваетъ и истощаетъ, изъ безсмыслія же нѣтъ другого выхода, кромѣ ничтожества, и притомъ такого ничтожества, которое обманываетъ своимъ самодовольствомъ и кажущеюся устойчивостью... Это, дескать, положительный взглядъ, это отличительная черта нашей эпохи! Не имѣть идеала, чуждаться мысли, смотрѣть на жизнь съ точки зрѣнія исключительно плотоядной, вгрызаться въ нее, какъ вгрызается въ куски мяса обезумѣвшій отъ голода хищный звѣрь — вотъ качества, которыя безстыдно и самодовольно выставляетъ человѣкъ въ подобныя эпохи, и при этомъ не только не ощущаетъ на лбу своемъ прикосновенія позорнаго клейма, но даже однимъ своимъ появленіемъ возбуждаетъ въ захмелѣвшей толпѣ неистовыя и безсмысленныя рукоплесканія".

Онъ предвидитъ возраженіе, что никакое общество не можетъ существовать безъ мысли, и что даже тѣ движенія, которыя кажутся случайными, подчинены извѣстному закону. Здѣсь есть доля правды,—говоритъ Салтыковъ,—но эта доля отыщется только тогда, когда мы будемъ смотрѣть на жизнь со стороны; для человѣка, который относится къ жизни не какъ посторонній зритель, а какъ дѣйствующее лицо, этой правды не будетъ. „Человѣкъ, дѣйствующій въ извѣстной средѣ, чувствуетъ и страдаетъ, а не взвѣшиваетъ и не наблюдаетъ. Онъ мало находитъ утѣшенія въ томъ, что въ статистическомъ

смыслѣ начало, подъ гнетомъ котораго онъ мечется въ жизни, называется не случайностью, а *закономъ* случайности, и что это такой же точно законъ, какъ и всякій другой. Онъ чувствуетъ, что не живетъ, а мечется, что среда давитъ и насильственно засасываетъ его въ тину безсмыслія и безсилія случайности". Онъ предоставляетъ отыскивать выводы и утѣшенія тѣмъ холоднымъ философамъ, которые относятся къ жизни съ безучастіемъ статистиковъ. Наконецъ, мы часто удостоиваемъ названія мысли то, что̀ даже не есть мысль, а только слабый ея зародышъ.

Далѣе, онъ снова обращается къ Аксакову. Послѣдній, разсматривая въ „Днѣ" нашъ „арсеналъ мирныхъ гражданскихъ орудій", пришелъ къ весьма печальнымъ заключеніямъ, а именно онъ нашелъ, что русское общество не можетъ „выставить даже нѣсколькихъ сотенъ честныхъ чиновниковъ"; что въ одной изъ сѣверо-западныхъ губерній главный начальникъ края не находитъ исполнителей для своей мысли; что молодые люди нашего времени, будучи впрочемъ добрѣйшими малыми, представляли собой собраніе „дряблыхъ космополитовъ"; что въ обществѣ нѣтъ сочувствія къ церковно-приходскимъ братствамъ, что у насъ на Руси мало ума и слишкомъ много „энергіи" и т. д. Салтыковъ не споритъ противъ этихъ замѣчаній, но находитъ, что обвиненія формулированы нѣсколько младенчески, и что слѣдовало указать, къ кому собственно обращены эти слова. Общество дѣйствительно страдаетъ пустотою и нравственнымъ ничтожествомъ; но, во-первыхъ, здѣсь надо разумѣть только ту часть его, которая имѣетъ возможность заявлять себя какимъ-нибудь дѣйствіемъ, а во-вторыхъ, что

и въ этой ограниченной сферѣ мы должны съ особенною осмотрительностію отдѣлять тѣ стихіи общества, дѣятельность которыхъ намъ неизвѣстна или недоступна нашему пониманію. Это непониманіе происходитъ оттого, что все новое, что̀ нарождается въ обществѣ, бываетъ нѣсколько неясно, облечено таинственностью, а съ другой стороны люди съ установившимися взглядами относятся къ этому новому съ недовѣрчивостью и съ преувеличеніями. „Такимъ образомъ, простое стремленіе къ свободѣ мысли намъ кажется уже стремленіемъ къ анархіи, вопросъ о положеніи женщины въ обществѣ сводится къ вопросу о свободѣ разврата и т. д. Являются даже особыя бранныя слова („ты нигилистъ“, „ты космополитъ“, „ты матеріалистъ“), которыхъ смысла мы сами хорошо не понимаемъ, но которыя имѣютъ то достоинство, что противъ нихъ нельзя даже возражать, ибо брань эта сама по себѣ считается геркулесовскими столпами человѣческой мудрости, дальше которыхъ шагать невозможно“.

Въ 1864 году Салтыковъ вообще работалъ меньше. Его общественныя хроники помѣщены были только въ трехъ первыхъ книжкахъ журнала.

Въ первой изъ этихъ статей онъ не останавливается спеціально на какомъ-нибудь изъ тогдашнихъ литературно-общественныхъ вопросовъ и въ рядѣ очерковъ даетъ понятіе о томъ общемъ настроеніи, которое начинаетъ господствовать въ литературѣ, и въ обществѣ. Наступалъ новый годъ. Обычный предразсудокъ придаетъ значеніе наступленію новаго года, какъ будто онъ въ самомъ дѣлѣ долженъ принести что-нибудь новое и, можетъ быть, луч-

[illegible] что онъ уже съ дѣтства извѣ-
[illegible] когда онъ былъ еще маленькимъ, то его
[illegible] водили въ дрянной ситцевой рубашкѣ
[illegible], что если онъ будетъ умникомъ, то ему
[illegible] бархатную курточку и алые штаники; но онъ
[illegible] старался быть умникомъ — онъ такъ и не по-
[illegible] бархатной курточки. И послѣ ему пришлось испы-
[illegible] такія же разочарованія, и онъ увѣрился, что время
равно времени, годъ равенъ году; въ одномъ нѣтъ по-
вода для воспоминаній, а въ другомъ — для надеждъ.

„Само собой разумѣется, что для того, чтобы стать на ту философскую высоту, съ которой дѣла сего міра кажутся безразличными, необходимо пройти сквозь множество такого рода испытаній, которыя на русскомъ языкѣ слывутъ подъ общимъ характеристическимъ наименованіемъ „огня и мѣдныхъ трубъ“ (сколько мнѣ извѣстно, въ нашемъ отечествѣ это наименованіе считается синонимомъ того, что̀ въ другихъ странахъ называется наукой); но, съ другой стороны, какъ же и требовать, чтобы блага истинныя и прочныя доставались намъ даромъ?“ Правда, съ пріобрѣтеніемъ этого взгляда онъ не пріобрѣлъ никакихъ жизненныхъ результатовъ; онъ не достигъ даже права прозябать втихомолку въ своемъ темномъ углу, а обладаетъ только возможностью произнести съ полнымъ убѣжденіемъ, что ничто не ново подъ луною.

„Но чего же достигъ и ты, о, людъ волнующійся и стремящійся! Вглядись пристальнѣе въ твою дѣятельность, не увидишь ли ты въ ней жалкой пародіи на дѣятельность тѣхъ служителей искусства для искусства, науки для науки, противъ которыхъ устремлено было все твое

горячее негодованіе? Волненіе для волненія, стремленіе для стремленія; сегодняшняя пустая дѣятельность, поправляющая вчерашнюю пустую дѣятельность, и въ свою очередь поправляемая завтрашнею пустою дѣятельностью! Вотъ процессъ твоей жизни, а въ результатѣ вѣчное, непрерывающееся самообольщеніе, то жалкое самообольщеніе, которое для человѣка, непричастнаго этой суматохѣ, кажется совершенно необъяснимою психологическою загадкою".

И онъ разсказываетъ исторію объ ополченцѣ, воображавшемъ, что онъ потерялъ тридцать тысячъ, которыхъ у него никогда не бывало, и утѣшавшемъ себя разсказами объ этомъ капиталѣ. Этого ополченца напомнило ему и русское общество.

„Итакъ, о, птенцы, внемлите мнѣ! Вы, которые еще полагаете различіе между старыми и новыми годами (не безъ нѣкоторыхъ, конечно, любострастныхъ въ вашу собственную пользу надеждъ), вы, которые надѣетесь, что откуда-то сойдетъ когда-нибудь какая-то чаша, къ которой прикоснутся засохшія отъ жажды губы ваши, вы всѣ, стучащіе и ни до чего не достукивающіеся, просящіе и не получающіе, всѣ вы можете успокоиться и прекратить вашу игру. Новый годъ, навѣрное, будетъ повтореніемъ стараго, потому что и старый былъ хорошъ; никакой чаши ни откуда не сойдетъ, по той причинѣ, что она уже давно стоитъ на столѣ, да губы-то ваши не съумѣли поймать ее; стучать и просить вы будете по прежнему (таково ужъ крохоборническое назначеніе ваше), и по прежнему ничто не отворится передъ вами, и ничего не будетъ вамъ дано, потому что жизнь даетъ только тѣмъ, кто подходитъ къ ней прямо, и притомъ

въ „благопристойной“ одеждѣ (такъ, по крайней мѣрѣ, всегда объявляется въ афишахъ, приглашающихъ почтеннѣйшую публику въ танцклассы)“. Перспектива не важная, но по крайней мѣрѣ есть въ ней та выгода, что она не заключаетъ никакого обманчиваго миража...

Очевидно, Салтыковъ, который въ этомъ случаѣ высказывалъ и взгляды цѣлой извѣстной доли общества, не питалъ уже никакихъ ожиданій на дальнѣйшее развитіе тѣхъ зачатковъ общественнаго преобразованія, которые заявлялись за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ и наполняли общество свѣтлыми ожиданіями. Онъ увѣщеваетъ не обманываться радужными цвѣтами—потому что одинъ цвѣтъ, съ которымъ мы будемъ имѣть дѣло и который насъ не обманетъ, есть цвѣтъ сѣрый.

Жизнь приноситъ свои опыты. „Вотъ, напримѣръ, до настоящаго 1864 года я совсѣмъ-таки не имѣлъ никакого понятія о томъ, что въ числѣ фигуръ, перечисляемыхъ въ русскихъ реторикахъ, есть одна, которая извѣстна подъ именемъ „пониженія тона („allegro ma non troppo“, „moderato“, а отчасти и „morendo“—вотъ музыкальные термины, которымъ эта фигура соотвѣтствуетъ), а теперь мнѣ и съ нею привелось познакомиться (по разъясненіи, впрочемъ, оказалось, что я знакомъ съ нею давно, чуть ли не отъ самаго рожденія, но только не зналъ, какъ ее назвать)“.

Очень забавенъ разсказъ о томъ, какъ онъ отыскивалъ объясненіе того, что̀ значитъ пониженіе тона. Началось съ того, что одинъ изъ его знакомыхъ литературныхъ генераловъ, которые по дружбѣ интересовались имъ, давалъ ему добрый совѣтъ.

— „Еслибы вы взяли́ на себя трудъ нѣсколько по-

низить этотъ тонъ, то нѣтъ сомнѣнія, что сочиненія ваши читались бы съ гораздо бо̀льшею пріятностью. Вы, конечно, понимаете меня?“ Слѣдовалъ комплиментъ.

Авторъ ничего не понималъ, но былъ польщенъ. „Я расцвѣлъ, ибо понялъ, что мой другъ, хотя и литературный, но все-таки генералъ (такъ конь и пряничный—все конь). Я чувствовалъ, что сердце мое таетъ, и что хоть я ничего еще не понимаю, но исполнить могу. Я во весь духъ побѣжалъ домой, чтобы немедленно же начать цѣлый рядъ статей подъ названіемъ: „Дѣлай со мной, что̀ угодно“ [1]).

Но надо было разъяснить вопросъ, и авторъ отправляется къ пріятелю, нѣкоему Антропу, преподававшему реторику въ одномъ изъ кадетскихъ корпусовъ.

— „Скажи мнѣ, другъ Антропъ! что̀ разумѣетъ реторика подъ именемъ „пониженія тона“?—спросилъ я его.

— „Подъ именемъ „пониженія тона“, — отвѣчалъ мой другъ:—реторика разумѣетъ такое онаго ограниченіе, которое, по наружности, хотя и не касается внутренняго содержанія, послужившаго поводомъ для словеснаго упражненія, но на дѣлѣ преестественнѣйше оное измѣняетъ и претворяетъ“.

Антропъ доказалъ это „тетрадками“. Не вполнѣ удовлетворенный, авторъ направился за разъясненіями къ одному опытному литератору, Михаилу Логгиновичу, который по старости лѣтъ не занимался литературой пристально, но изрѣдка пописывалъ антикварско-біографическіе фельетоны для „Московскихъ Вѣдомостей“. Опытный литераторъ объяснилъ, что „пониженіе тона“ есть

[1]) За двѣ страницы онъ называетъ по именамъ пряничныхъ коней — „опытныхъ литераторовъ, которые покровительствуютъ моимъ талантамъ“.

изобрѣтеніе временъ новѣйшихъ; въ прежнее время (въ наше время, говорилъ опытный литераторъ) пониженіе тона не существовало, потому что и возвышенія его не было.

— „Былъ тонъ любезный. Литература, въ наше время, приглашала читателя насладиться и возбуждала въ немъ тихое чувство благодарности. Отъ непріятныхъ зрѣлищъ отклоняла, требованія предъявлять не совѣтовала и, не разсѣвая заблужденій (какъ нынѣ), направляла умы и сердца къ предметамъ, достойнымъ вѣроятія и рекомендуемымъ людьми опытными и нарочито уполномоченными. Въ настоящее время этотъ любезный тонъ сохранился лишь въ воскресныхъ прибавленіяхъ „Московскихъ Вѣдомостей“.

Ссылка на Антропа была отвергнута опытнымъ литераторомъ:

— „Антропъ человѣкъ новый; къ тому же онъ получилъ воспитаніе въ семинаріи, и потому съ жадностью заноситъ въ свои тетрадки всѣ лжеученія, порожденныя современностью“.

Но когда недоумѣвающій авторъ все-таки желалъ имѣть мнѣніе опытнаго литератора о пониженіи тона, тотъ отвѣтилъ:

— „Приблизительно, я полагалъ бы возможнымъ опредѣлить его такъ: „пониженіе тона есть такое онаго ограниченіе, которое по наружности хотя и не касается внутренняго содержанія, послужившаго поводомъ для словеснаго упражненія, но на дѣлѣ пресущественнѣйше оное измѣняетъ и претворяетъ“.

Это были, какъ видимъ, тѣ же слова Антропа. Когда, послѣ подробныхъ и довольно замысловатыхъ объясненій

съ опытнымъ литераторомъ, предметъ оставался все-таки неясенъ, авторъ остановилъ перваго попавшагося чиновника и задалъ ему тотъ же вопросъ. Чиновникъ отвѣтилъ:

— „Подъ „пониженіемъ тона“ слѣдуетъ разумѣть сообщеніе человѣческой рѣчи такого характера, чтобы она всегда имѣла въ предметѣ лицо презуса, хотя бы, въ дѣйствительности, и не была къ нему обращаема“,— отвѣчалъ онъ безъ запинки, и тотчасъ же скрылся.

„Я понялъ. Я бросился догонять моего просвѣтителя и хотѣлъ благодарить, но онъ наотрѣзъ отказался принять мою посильную лепту, и сказалъ мнѣ, что нынѣче чиновники не только ничего не берутъ, но даже огорчаются, когда замѣчаютъ въ просителѣ хотя малѣйшее покушеніе на ихъ бюрократическое цѣломудріе“.

Итакъ, авторъ понялъ, что его поиски были не больше, какъ недоразумѣніе, что онъ съ малолѣтства ничѣмъ инымъ не занимается, кромѣ пониженія тона.

„Была ли когда-нибудь моя мысль свободна отъ того представленія, которое чиновникъ такъ оригинально осуществилъ въ лицѣ презуса? По совѣсти, никогда. Употреблялъ ли я когда-нибудь иныя выраженія, кромѣ самыхъ изысканнѣйшихъ? Клянусь, никогда. Дерзалъ ли я когда-нибудь выразить что-либо иное, кромѣ того, что могло и должно было нравиться людямъ самымъ благоуханнымъ, благовоспитаннымъ и благонамѣреннымъ? Никогда, никогда и никогда! Мысль о „генералѣ“, мнѣ соприсутствующемъ, до такой степени была всегда присуща моему уму, что вошла мнѣ въ плоть и кровь, сдѣлалась частью меня самого“...

Въ это время „Современная Лѣтопись“ вызвала новый

отпоръ „Современника“. Катковъ утверждалъ, что какъ только цензура будетъ упразднена, „Современникъ“ тотчасъ прекратитъ свое существованіе, потому что „Московскія Вѣдомости“ легко съ нимъ справятся; въ особенности указывалось на хронику Салтыкова, которая будто бы обязана своимъ процвѣтаніемъ именно цензурѣ, „принимающей на себя грѣхи авторовъ“. Салтыковъ сомнѣвается въ этомъ. „Конечно, мнѣ и обиняками очень удобно говорить о наукѣ, утверждающей, что земля стоитъ на трехъ рыбахъ, но увѣряю, что я отнюдь не сконфужусь, если и прямо придется высказать, что это та самая наука, которой представителями служатъ г. В. Ржевскій съ его прямыми послѣдователями, гг. Катковымъ и Леонтьевымъ, и даже назвать эту науку ея надлежащимъ именемъ. Повѣрьте, что я при первомъ удобномъ случаѣ исполню это съ полною ясностью и вразумительностью, и что вы останетесь мною довольны“.

Салтыкова возмущала въ особенности та двойственность, которою московскіе публицисты спутывали вопросъ. „Въ самомъ дѣлѣ, что̀ за странная путаница понятій! Съ одной стороны, вліяніе цензуры на печатное слово представляется неполезнымъ, и, слѣдовательно, всякое въ этомъ смыслѣ послабленіе предполагается желательнымъ, а съ другой—чуть только проходитъ въ печать что-нибудь такое, что̀ вамъ не нравится, вы первые сыплете косвенными предостереженіями, первые кричите: „смотрите! смотрите! вотъ что̀ печатается у насъ съ дозволенія цензуры!“ Воля ваша, а для меня ясно въ вашихъ дѣйствіяхъ одно изъ двухъ: или вы не понимаете сами, о чемъ говорите, или вы слишкомъ хорошо понимаете, чего вамъ надобно. Я, конечно, скорѣе склонюсь въ пользу

послѣдняго предположенія, и сверхъ того убѣждаюсь окончательно въ томъ, что для печатнаго русскаго слова грозитъ въ будущемъ неудобство гораздо горшее, нежели оффиціальная цензура, нынѣ существующая: ему грозитъ цензура аматёрская. Да поймите же, наконецъ, что если такое аматёрство и можетъ быть допущено, то вѣдь для того, чтобы оправдать его, нужна цѣлая совокупность условій, которая позволяла бы полную свободу полемики! А безъ этого аматёрство дѣлается, наконецъ, вещью, которой трудно пріискать соотвѣтствующее имя"...

Между прочимъ, одинъ критикъ Катковскаго изданія, занявшись такой аматёрской цензурой, обратилъ вниманіе на повѣсть: „Смѣлый шагъ", помѣщенную въ „Современникѣ", и увидѣлъ въ ней какую-то угрожающую доктрину. Салтыковъ отвѣчаетъ съ негодованіемъ, что повѣсть представляетъ просто разсказъ изъ современной общественной жизни: „Это повѣсть, повѣсть, повѣсть— и ничего больше... кромѣ развѣ того, что повѣсть эта, по внутреннему своему содержанію, несравненно болѣе нравственна, нежели тѣ паскудныя произведенія легкаго клубницизма, которыми, тоже подъ формою повѣстей, отравляетъ свою публику „Русскій Вѣстникъ"".

Слѣдующая хроника [1]) посвящена опять деревнѣ. Въ деревню приводитъ автора его другъ, который ѣдетъ туда зимой по сугробамъ и ухабамъ, и, пока добирается до деревни, предается мечтамъ и воспоминаніямъ. Между прочимъ, вспоминается ему „Фаустъ" съ Тамберликомъ и Барбо, проходитъ въ памяти картина старой любви;

[1]) „Современникъ", 1864, № 2.

потомъ „вдругъ, ни съ того, ни съ сего“, воображеніе переноситъ его въ какой-то мрачный кагалъ, наполненный „московскими публицистами“; онъ впадаетъ въ раздумье, прерываемое легкими ухабами.

— „Не можетъ быть!—разсуждаетъ онъ:—это они не безъ задней мысли такъ дѣйствуютъ. Я думаю даже, что это съ ихъ стороны очень зрѣло обдуманная военная хитрость. Они просто хотятъ, во что бы то ни стало, утвердиться въ самомъ центрѣ укрѣпленнаго мѣста, а потомъ, когда...

„Но легкій ухабъ прерываетъ нить размышленій...

„Другъ мой до такой степени плѣняется своимъ предположеніемъ, что даже сочиняетъ цѣлый планъ кампаніи. Онъ очень живо представляетъ себѣ, какъ одинъ публицистъ заманиваетъ въ трущобу; другой дѣйствуетъ въ это время боковыми движеніями; третій подсылаетъ лазутчиковъ съ ложными вѣстями; четвертый отводитъ глаза, и вдругъ“...

— „И вдругъ соединенными силами подпускаютъ кулеврину!“—мысленно восклицаетъ мой другъ и даже поворачивается на мѣстѣ отъ удовольствія“.

Понятно, кто были эти московскіе публицисты. Любопытно видѣть, какъ Салтыковъ уже въ то время понималъ способъ дѣйствій этихъ публицистовъ, которые имѣли похожую на это программу дѣйствій и затѣмъ дѣйствительно надолго успѣли „утвердиться въ центрѣ“. Но въ концѣ концовъ этотъ другъ, продолжавшій свои размышленія съ паузами при каждомъ ухабѣ, приходитъ къ иному, какъ будто неожиданному соображенію:

— „Н-да, это съ ихъ стороны просто подвохъ, да еще какой подвохъ-то! Но отчего отъ этого подвоха такъ

скверно пахнетъ? Отчего этотъ подвохъ какъ будто и не подвохъ совсѣмъ? Н-да, это даже почти вѣрно, что тутъ никакого подвоха нѣтъ и не бывало".

На этомъ мысли путника прерываются, и авторъ не объясняетъ ихъ. Повидимому онъ хотѣлъ сказать, что въ самомъ дѣлѣ „подвоха" нѣтъ—совершается вполнѣ естественное дѣло: „московскіе публицисты" говорятъ то, что теперь именно во вкусѣ массы. Другой вопросъ, что они говорятъ, какова общественная масса, и какова роль самихъ публицистовъ: нѣкогда они расходились съ этой массой, хотѣли вести ее изъ ея застоя къ лучшимъ идеямъ и къ просвѣщенію, а теперь надумали, что гораздо выгоднѣе служить ея грубымъ инстинктамъ...

Наконецъ авторъ въ деревнѣ.

Выше мы приводили уже нѣсколько эпизодовъ, гдѣ Салтыковъ говоритъ о народной, деревенской жизни. Здѣсь опять то же отношеніе къ этой жизни, развитое новыми картинами и соображеніями. Мы остановимся еще разъ на этихъ темахъ въ виду того, что, какъ мы указывали, взглядъ Салтыкова на народную жизнь и самый народъ бывалъ въ послѣднее время не вполнѣ ясенъ для его читателей и даже почитателей. Недоразумѣніе идетъ въ особенности съ „Исторіи одного города", хотя подъ конецъ „Пошехонская Старина" могла бы указать, сколько было въ душѣ его глубокаго состраданія къ тяжелой судьбѣ народной массы и негодованія на утвержденный вѣками складъ быта и нравовъ, которымъ оправдывалось порабощеніе...

„Не знаю,—говоритъ Салтыковъ съ обычною примѣсью иронія,—оттого ли, что *я плохо себя окутываю* [1]),

[1]) Т.-е. и физически, и нравственно.

или оттого, что я отъ природы не мечтателенъ, но зимній проселокъ не навѣваетъ на меня ровно никакихъ мечтаній, ни свѣтлыхъ, ни темныхъ, ни веселыхъ, ни горькихъ. Сидя въ городѣ, за каменными стѣнами, вдали отъ того труднаго *нечужеяднаго* дѣла, которое во-истину въ потѣ лица снискиваетъ хлѣбъ свой, еще можно, по временамъ, отдаваться мечтамъ о сближеніяхъ и о почвѣ, любоваться чистопсовымъ эпосомъ, созидаемымъ фантазіей г-жи Кохановской, увлекаться описаніями въ родѣ „Года русскаго земледѣльца“ г. В. Селиванова (любопытные могутъ отыскать это диковинное въ своемъ родѣ описаніе въ „Русской Бесѣдѣ“ за 1857 годъ) и созидать фантастическіе дивертисементы съ пѣніемъ и танцами; но какъ только станешь лицомъ къ лицу къ настоящей, неподкрашенной дѣйствительности, какъ только въѣдешь въ это необъятное, стонущее пространство, называемое проселкомъ, то затѣи городского досужества опадаютъ сами собой, какъ опадаютъ листья съ деревьевъ подъ хмурымъ осеннимъ небомъ“...

Его нисколько не привлекаетъ придуманная идиллія; напротивъ, ея фальшивость ему противна „до гадости“. Онъ приводитъ отрывокъ изъ упомянутаго сочиненія Селиванова, рисующій картину патріархальнаго благополучія крестьянской жизни, и продолжаетъ:

„Не правда ли, какая милая, трогательная картинка, какимъ миромъ и счастьемъ вѣетъ отъ этой крестьянской семьи, гдѣ и кошка мурлычитъ, и молодая мать убаюкиваетъ грудного ребенка, и на ворчаніе старухи никто не обращаетъ вниманія? И чѣмъ дальше идетъ читатель за авторомъ, тѣмъ больше и больше саднитъ ему сердце отъ умиленія...

„Я знаю, въ русской литературѣ много такихъ *отводящихъ глаза* произведеній, но въ дѣйствительности жизнь русскаго мужика всего менѣе даетъ мѣста для идиллическихъ предположеній. Патріархальный фальшфейеръ, выработанный крѣпостнымъ правомъ, позволявшій одному говорить: мы ваши отцы, а другимъ — мы ваши дѣти, палъ самъ собою, какъ только уничтожилась причина, его породившая. Жизнь приняла общій, человѣческій характеръ; нѣтъ ни отцовъ, ни дѣтей, а есть люди, стоящіе рядомъ“.

Писателямъ-художникамъ, все еще настаивающимъ на патріархальности отношеній и придающимъ крѣпостному праву какой-то величаво-эпическій характеръ, Салтыковъ [1]) совѣтуетъ взглянуть поближе на настоящія условія сельскаго быта: они отрезвились бы отъ фантазій и увидѣли бы, что мнимая патріархальность была просто „насильственной формой, которую одна сторона предлагала, потому что могла предлагать, а другая принимала, потому что не могла не принять“. Иначе ей и невозможно было произойти, — и гдѣ, въ какихъ захолустьяхъ отыщешь ее *теперь*?

„Жизнь русскаго мужика,—говоритъ Салтыковъ,—тяжела, но не вызываетъ ни чувства безплодной и всегда оскорбительной жалостливости, ни тѣмъ менѣе идиллическихъ присѣданій. Какъ всякая другая жизнь, какъ вообще все на свѣтѣ, она представляетъ богатый матеріалъ для изученія, а еще больше для сравненій и сопоставленій. Когда фактъ представляется передъ нами въ видѣ статистическаго даннаго, въ видѣ цифры, то это еще

[1]) Онъ могъ подразумѣвать здѣсь выходившія тогда сочиненія Аксакова-отца.

совсѣмъ не фактъ, — это просто мертвая буква, никому ничего не говорящая. Чтобы понять истинное значеніе факта, необходимо знать, чего онъ стоилъ тому, кто его выносилъ и по милости чьей онъ сдѣлался фактомъ. Необходимо, однимъ словомъ, создать такую статистику, въ которой слышалось бы присутствіе тревожной человѣческой дѣятельности, отъ которой отдавало бы запахомъ трудового человѣческаго пота".

Слѣдующія строки передаютъ, безъ сомнѣнія, самую серьезную, задушевную мысль Салтыкова; она совершенно далека отъ того безсодержательнаго или мистическаго идеальничанья, которое такъ сильно развивалось у насъ на тему „народа", начиная отъ стараго славянофильства до новѣйшаго народничества, и эта мысль устраняетъ всѣ пересуды относительно взглядовъ Салтыкова на народъ.

„Уже одно то, что коренное условіе мужицкой жизни составляетъ вѣчный непрерывающійся трудъ, достаточно указываетъ на совершенно серьезный ея характеръ и на положительную невозможность относиться къ ней съ умиленіями и присѣданіями. Начинать каждый свой день мыслью о насущномъ хлѣбѣ и этою же мыслью день заканчивать,—какъ хотите, а тутъ потребно или великое мужество, или же полное и трудно постигаемое равнодушіе. Я, съ своей стороны, думаю, что въ настоящемъ случаѣ исключительно присутствуетъ то великое и никѣмъ еще достаточно не оцѣненное *мужество*, которое одно можетъ дать человѣку и силу, и присутствіе духа, необходимыя, чтобы удержать его на краю вѣчно зіяющей бездны. Положеніе мучительное, мимо котораго мы потому только проходимъ безъ крайне болѣзненнаго чув-

ства, что не даемъ себѣ труда вникнуть въ его сущность. Да мы съ вами, читатель не можемъ и вникнуть въ него, потому что для насъ все въ этомъ дѣлѣ непонятно: и невозможность досуга, и вѣчная зависимость жизни отъ личнаго матеріальнаго труда, и эти опасенія, эти ужасныя опасенія, которыя ни на минуту не отходятъ отъ человѣка, ни на минуту не даютъ ему забыться и отдохнуть.

„Ничего мы этого съ вами не понимаемъ".

Салтыковъ припоминаетъ читателю, что уже говорилъ о деревнѣ,—но то было лѣтомъ. Зимою мужицкая жизнь дѣлается еще труднѣе и рискованнѣе. „Зимою наружный видъ деревни поражаетъ тоской и унынiемъ". Мужицкія избы становятся еще бѣднѣе и сиротливѣе. „Окруженныя со всѣхъ сторонъ снѣжными сугробами, придавленныя сверху толстымъ снѣжнымъ пластомъ, онѣ однимъ своимъ видомъ говорятъ путнику о всякой безпріютности, о всевозможныхъ лишенiяхъ и неудобствахъ. Такъ тянется цѣлая длинная улица"...

Слѣдуетъ подробное изображенiе тѣсной курной избы съ ея населенiемъ... Тѣснота, смрадъ, нечистота—„вотъ тѣ гигiеническiя условiя, которыя представляетъ собой русская изба съ точки зрѣнiя жилья, и вотъ гдѣ родится, старѣется и умираетъ поилецъ и кормилецъ русской земли".

„Съ точки зрѣнiя нравственной,—продолжаетъ Салтыковъ,—эти условiя по малой мѣрѣ равносильны описаннымъ выше. И возрасты, и полы постоянно смѣшаны. Смѣшенiе первыхъ имѣетъ прямымъ послѣдствiемъ то, что поколѣнiя одни за другими коснѣютъ въ однихъ и тѣхъ же предразсудкахъ и становятся навсегда застра-

хованными отъ прикосновенія всякой свѣжей мысли. Непроницаемая тьма свинцовымъ пологомъ ощетинилась и отяжелѣла надъ этими хижинами, и въ этой тьмѣ безраздѣльно царствуетъ старый Сатурнъ, заживо поѣдающій дѣтей своихъ. Сынъ, безотлучный свидѣтель безмолвнаго малодушія или трусливаго лукавства отца, можетъ ли вынести изъ своихъ наблюденій что-нибудь иное, кромѣ собственнаго малодушія и лукавства? Сынъ, отъ сосцовъ матери привыкшій видѣть, что все вокругъ него покоряется слѣпой случайности, не дѣлая ни малѣйшей попытки къ освобожденію себя изъ-подъ гнета ея, можетъ ли выработать что-нибудь иное, кромѣ безграничной вѣры въ ту же слѣпую случайность? И такимъ образомъ переходитъ она, эта тьма, отъ одного поколѣнія къ другому, все круче и круче закрѣпляя проклятыя тенета, которыми они спутаны. Что же касается до смѣшенія половъ, то послѣдствія этого явленія слишкомъ очевидны, чтобы слѣдовало распространяться объ нихъ. Во всякомъ случаѣ можно сказать утвердительно, что, вслѣдствіе совокупности всѣхъ условій, пресловутая чистота русской семьи, взятая даже въ ограниченномъ смыслѣ половыхъ отношеній, есть не болѣе, какъ сантиментальная утопія, которою славянофилы отводятъ глаза публикѣ. Нуженъ ли этотъ отводъ глазъ? не похожъ ли онъ на тѣ казенные рапорты о всеобщемъ благополучномъ обстояніи, которыми слишкомъ усердные подчиненные успокоиваютъ своихъ добрыхъ начальниковъ? Предоставляю разрѣшеніе этихъ вопросовъ самому читателю, но думаю, что ложь, какой бы ни былъ ея характеръ, никогда не полезна и не нужна, а особливо въ тѣхъ случаяхъ, когда истина не только не обвиняетъ, но положительно оправдываетъ...

Вотъ та нравственная и умственная среда, въ которой родится, старѣется и умираетъ поилецъ и кормилецъ русской земли".

Затѣмъ онъ рисуетъ картину деревенской жизни зимой и зимняго мужицкаго промысла, сосчитываетъ бюджетъ крестьянскаго обихода въ точныхъ цифрахъ затратъ и доходовъ [1]). Въ результатѣ онъ дѣлаетъ такой выводъ:

„Изъ этого видно, въ какой степени неоснователенъ ропотъ тѣхъ господъ, которые позволили себѣ негодовать на то, что правительство будто бы излишне понизило норму оброка, платимаго крестьянами, ибо выгода, получаемая крестьяниномъ отъ найма земли, до того мала, что онъ существовать ею положительно не можетъ. Чтобы достать себѣ соли и кусокъ мяса въ праздникъ, чтобъ одѣть себя и свое семейство, онъ обязанъ пускаться въ заработки, но не такъ, какъ пускаемся мы съ вами, читатель: у себя въ кабинетѣ, или черезъ дорогу въ департаментѣ, а съ обреченіемъ себя на лишенія, на усталость и на всякаго рода случайности.

„Нѣтъ, вы представьте же себѣ эту жизнь, въ которой яйцо считается плодомъ запретнымъ, а простое коровье масло — непозволительною роскошью, въ которой соль составляетъ предметъ мучительныхъ тревогъ, въ которой человѣкъ не знаетъ другого ложа, кромѣ голыхъ досокъ съ постланною на нихъ соломой, другого изголовья, кромѣ свернутаго, кишащаго насѣкомыми полушубка, въ которой неизвѣстно, что̀ значитъ тепло, а извѣстны или стужа, или жаръ непереносный?..

[1]) Салтыковъ беретъ деревенскій бытъ подмосковный, гдѣ у него было имѣніе.

„Это просто адъ, и мужикъ до такой степени понимаетъ это, что когда ему выдается такой моментъ, что его не терзаютъ ни тараканы, ни клопы, ни вши, когда его не печетъ въ упоръ солнцемъ, и не обжигаетъ сзади и спереди морозомъ, когда онъ можетъ успокоить свое тѣло на чемъ-нибудь болѣе мягкомъ, нежели голая доска, то онъ выражается такъ: „точно я, сударь, въ раю побывалъ“.

„Какъ же, однакожъ, живутъ, такимъ образомъ, люди?—спроситъ меня изумленный читатель.—Ну, да, такъ и живутъ. Живутъ, и даже пѣсни дерутъ по праздникамъ, и подсмѣиваются, и подшучиваютъ другъ надъ другомъ, и совокупляются, и даже празднуютъ по этому случаю“...

Главное объясненіе есть, конечно, желаніе жить во что бы то ни стало—„застарѣлая болѣзнь, которою томится человѣкъ, въ какомъ бы положеніи ни застала его жизнь, какимъ бы холодомъ она ни дохнула на него“. Это желаніе жить преодолѣваетъ все и не пугается даже далекой перспективы, ничего не обѣщающей, кромѣ повторенія пройденныхъ задовъ. По мнѣнію Салтыкова, эта „сладкая привычка жить“ ни въ комъ такъ сильно не сказывается, какъ въ русскомъ мужикѣ и—въ *русскомъ литераторѣ*...

Наконецъ, изъ всего этого разсказа о русскомъ мужикѣ Салтыковъ извлекаетъ слѣдующее поученіе для насъ, людей просвѣщенныхъ, ходящихъ въ „благопристойной одеждѣ“ и даже разсуждающихъ о прогрессѣ.

„Насъ, танцующихъ у Ефремова [1]) въ „благопристойной“ одеждѣ людей, могутъ еще тѣшить какіе-то

[1]) Извѣстный тогда въ Петербургѣ танцклассъ

словесные турниры, прикрывающіе себя пышными именами свободы, прогресса и т. п., но мужику до этихъ словесныхъ турнировъ рѣшительно нѣтъ никакого дѣла. Вслѣдствіе ли природной ограниченности, или отъ того, что онъ пришибенъ всякими обстоятельствами, мужикъ не прозрѣваетъ умственнымъ окомъ своимъ въ отдаленныя перспективы прогресса и желаетъ получить хотя то улучшеніе, которое доступно его пониманію, и притомъ получить немедленно. Я думаю даже, что съ нимъ было бы очень трудно сговориться и насчетъ привлекательности труда, несмотря на то, что теорія эта, очевидно, построена въ его пользахъ.

Что же изъ этого слѣдуетъ? быть можетъ, спроситъ меня благоразумный, но не совсѣмъ понятливый читатель. А изъ этого слѣдуетъ одна очень простая вещь, что когда говоришь о мужичкахъ, то нѣтъ никакой надобности ни умиляться, ни присѣдать, ни впадать въ меланхолію. Надо смотрѣть на это почтенное сословіе какъ можно проще, и въ настоящее время, думается мнѣ, достаточно будетъ съ тебя, читатель, если ты доподлинно будешь знать, что дѣлаетъ русскій мужикъ, и во что ему это его дѣло обходится. Никогда не мѣшаетъ имѣть правильныя и непреувеличенныя свѣдѣнія о предметѣ, о которомъ имѣть таковыя желаешь. Это отсутствіе преувеличеній, быть можетъ, огорчитъ нѣсколько любознательнаго изыскателя, лишитъ его удовольствія рисовать картинки на розовомъ маслѣ, и вообще идеальничать и поэтизировать, но взамѣнъ того оно положитъ начало чувству болѣе прочному и плодотворному, чувству справедливости. Если идеализація, всегда основанная на поверхностномъ и неполномъ знаніи вещей, помогаетъ намъ

распускаться въ умиленіяхъ и мечтахъ о сближеніяхъ, то не надо забывать, что нерѣдко та же самая идеализація ведетъ насъ и къ мордобитію. Напротивъ того, знаніе вещи необходимо отразится и на отношеніяхъ человѣка къ ней, и эти отношенія будутъ именно такими, какими они быть должны. Не будетъ поцѣлуевъ, но не будетъ и оплеухъ, не будетъ любви всепрощающей, но не будетъ и поученій тѣлесныхъ. Будетъ справедливость, а покамѣстъ она только и требуется".

Отъ мужиковъ онъ переходитъ къ помѣщикамъ. Это одинъ изъ тѣхъ эпизодовъ, какихъ не мало разсѣяно въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Салтыкова и гдѣ изображается положеніе землевладѣльцевъ послѣ упраздненія крѣпостного права. Они потеряли подъ собою почву и, не зная, какъ приладиться къ новымъ условіямъ, проживаютъ послѣднія средства, доставленныя выкупными свидѣтельствами, и нерѣдко кончаютъ полнымъ разореніемъ и исчезаютъ со сцены, или ждутъ, что какая-то невѣдомая сила снова возвратитъ имъ прежнее благополучіе.

Салтыковъ разсуждаетъ по этому поводу:

„Мы склонны раздражать себя всякаго рода утопіями; мы постоянно питаемъ свое воображеніе насчетъ прочихъ умственныхъ силъ. Причины такого явленія заключаются въ совершенной неподготовленности къ дѣлу, въ полномъ незнаніи того матеріальнаго процесса, сквозь который всякое дѣло должно пройти въ своемъ естественномъ развитіи. Мы охотно перескакиваемъ черезъ всѣ препятствія, устраняемъ подробности процесса и заранѣе наслаждаемся уже концомъ неначатаго еще дѣла. Отъ этого-то между нами такое множество и такое разно-

образіе Хлестаковыхъ. Крѣпостное право укоренило въ насъ эту погибельную наклонность, положило ей начало, давая намъ возможность жить не думая; упраздненіе крѣпостного права не только не ограничило ея (какъ слѣдовало бы на первый взглядъ ожидать), но окончательно развило и довело до громадныхъ размѣровъ. Явились утописты вольнонаемнаго труда, утописты плодоперемѣнныхъ хозяйствъ, и, не приступивши еще къ дѣлу, уже предвкушали урожаи самъ-двадцать и наколачивали какую-то баснословную деньгу. Оказалось, однако, что разсчеты не вѣрны, или, лучше сказать, что ихъ даже совсѣмъ не было"...

Черезъ два года послѣ отмѣны крѣпостного права, Салтыковъ уже предвидитъ зрѣлище предстоящаго упадка: „Какъ заглохнутъ со временемъ эти старинныя усадьбы, въ которыхъ такъ легко и привольно жилось когда-то! какъ зазеленѣютъ и заплесневѣютъ эти проточные великолѣпные пруды, какъ заростутъ эти дорожки! Чѣмъ это кончится? чѣмъ это кончится? спрашиваешь себя съ невольной тревогой. Неужели"...

Онъ оканчиваетъ слѣдующимъ разсужденіемъ о русскомъ обществѣ. Его могутъ упрекнуть,—думалъ онъ,—что написанное имъ не составляетъ общественной хроники; но мы извратили смыслъ слова „общество",—говоритъ онъ; мы привыкли искать проявленій общественной жизни не тамъ, гдѣ ихъ слѣдуетъ искать. Представляя себѣ общество въ видѣ многоэтажнаго зданія, мы полагаемъ, что жизнь совершается только въ бельэтажѣ и rez-de-chaussée, а все обитающее въ подвалахъ и чердакахъ полагается просто неживущимъ. Правда,

жизни и вездѣ мало, но запросъ на жизнь всего живѣе чувствуется именно въ забытыхъ помѣщеніяхъ.

„Собственно такъ-называемое „общество“ представляетъ слишкомъ мало интереснаго, чтобы стоило много распространяться о немъ. Оно живетъ своею обычною, безцвѣтною жизнью; порою отъ нечего-дѣлать фантазируетъ; порою, тоже отъ нечего-дѣлать, эти же самыя фантазіи преслѣдуетъ. Вѣчная жертва колебаній и судорожныхъ подергиваній, оно наглядным образомъ свидѣтельствуетъ о несостоятельности и о совершенномъ отсутствіи дѣйствительныхъ и серьезныхъ жизненныхъ основъ...

„Въ сущности, всѣ его произвольныя фантазіи должны быть безразличны, ибо всѣ одинаково ничего не обозначаютъ; и если есть еще что-нибудь горькаго и страшнаго въ этой неурядицѣ, такъ это именно то, что новая, чуть-чуть пробивающаяся жизнь еще слишкомъ слаба, чтобы дать сколько-нибудь надежную опору и сдѣлать возможнымъ безразличный взглядъ на неурядицу“.

Въ слѣдующей хроникѣ [1]) Салтыковъ снова обращается къ той невообразимой путаницѣ понятій, которая господствовала въ тогдашнемъ обществѣ и публицистикѣ и расходилась по всѣмъ сферамъ, затемняя, наконецъ, все положеніе вещей до невозможности. По поводу толковъ о нигилизмѣ и „мальчишествѣ“, онъ указываетъ, что „рядомъ съ тѣмъ молодымъ поколѣніемъ, противъ котораго ратуютъ московскіе публицисты, ростетъ другое, на которомъ съ довѣрчивостію и любовію могутъ отдох-

[1]) „Современникъ“. 1864, № 3.

нуть взоры ихъ". Это поколѣніе онъ назы[illegible] „маль-чиками" и, чтобы характеризовать его, разсказываетъ примѣрную біографію одного изъ его представителей. Это—типъ, на которомъ онъ много разъ останавливался впослѣдствіи въ разныхъ варіаціяхъ и подъ разными наименованіями. Это—противоположность „нигилизму"; люди этого поколѣнія происходятъ обыкновенно изъ семей достаточныхъ, имѣютъ возможность получить образованіе въ прекрасныхъ учебныхъ заведеніяхъ, воспитанники которыхъ славились изящными манерами, прекраснымъ знаніемъ французскаго языка, такъ что о нихъ говорили, что это почти-что пажи. Науки излагались въ заведеніи довольно странно: учили „всему"; было что-то похожее и на законовѣдѣніе, и на исторію, и на политическую экономію, даже на философію, но въ концѣ концовъ получалась чепуха и науки превращались просто въ „предметы", изъ которыхъ надо было получать высшій баллъ; затѣмъ это воспитаніе дополнялось собственнымъ нравственнымъ и умственнымъ кодексомъ, признаками котораго были: élégance, sentiments chevaleresques и culte des dames, и который развивался по субботамъ и воскресеньямъ, когда воспитанниковъ отпускали домой; наконецъ, умственную пищу составляли милыя cochonneries, изящно разыгрываемыя на сценѣ Михайловскаго театра. Съ дѣтства „пошлость дѣлалась закономъ, становилась правомъ, руководящею нитью жизни". Нечего, слѣдовательно, говорить, чтобы здѣсь возможно было какое-нибудь сознательное убѣжденіе; „умъ, разсудливость и пытливость были вычеркнуты изъ наличности еще гораздо прежде вступленія его (героя) въ настоящую, заправскую жизнь: всѣмъ завладѣло, все полонило изворотливое, че-

столюбивое и похотливое воображеніе". Герой былъ круглый невѣжда, но онъ поставилъ себѣ опредѣленную цѣль—карьеру, и успѣлъ въ этомъ: онъ присматривался, угадывалъ, что̀ пріятно начальству. Наступилъ 1856 годъ; герой умѣлъ приспособиться къ минутѣ, и хотя въ головѣ у него не было никакихъ настоящихъ мыслей, это ему не помѣшало. „Тогда на этотъ счетъ было просто: вопросовъ никто не дѣлалъ, всѣ вѣрили на̀ слово и восклицательную форму считали лучшею и удобнѣйшею для выраженія человѣческихъ мыслей. „Mon cher! надо администрировать посредствомъ увеселеній—c'est le système autrichien, et c'est le seul bon!" проповѣдовалъ онъ, граня тротуары по Невскому, и такъ какъ это была единственная сфера, въ которой онъ чувствовалъ себя достаточно приготовленнымъ, то и развивалъ свою идею научнымъ образомъ и во всѣхъ подробностяхъ". Крестьянская реформа остудила либеральныя увлеченія героя; ему въ первый разъ показалось, что онъ уже слишкомъ большой прогрессистъ, и онъ припомнилъ, что кромѣ теоріи увеселеній есть еще теорія ежовыхъ рукавицъ. 1862 годъ окончательно опредѣлилъ его направленіе; онъ скомпоновалъ проектъ „объ истребленіи гибельнаго нигилистскаго разврата въ самомъ его зародышѣ"; проектъ принятъ не былъ, но на „перо" обратили вниманіе... „Я совершенно убѣжденъ, — прибавляетъ Салтыковъ, — что Вася пойдетъ очень далеко, потому что такого рода люди и ко времени, и къ мѣсту".

Таковы были новыя дѣйствующія лица, всплывавшія съ 1862 года. Салтыковъ говоритъ, что ему становится горько и стыдно за себя, что онъ съ такимъ легкомыслiемъ нападалъ на старыхъ представителей русскаго

развеселаго житья [1]); новое поколѣніе до того превзошло своихъ предшественниковъ, что онъ чувствуетъ себя несправедливымъ передъ этими послѣдними. „Да, только теперь я вижу, что и въ самомъ запустѣніи можетъ усматриваться нѣчто трогательное, чуть-чуть даже не плѣнительное; только теперь я понимаю, какъ много было въ тебѣ привлекательной гадости, мой старый, добродушный драбантъ! Ты былъ бездѣльникъ, но ты былъ милъ, и, конечно, самъ прежде всего былъ бы удивленъ, еслибы кто-нибудь объявилъ тебѣ о томъ, что ты бездѣльникъ. Эта непосредственность бездѣльничества выкупала многое. Тотъ еще не весь злодѣй, кто бьетъ смаху; тотъ злодѣй, кто дерется съ вывертами, кто бьетъ и при этомъ зеленѣетъ, бьетъ и при этомъ чувствуетъ, какъ томительная, почти сладострастная судорога пробѣгаетъ по всѣмъ его суставчикамъ...

„Когда я начинаю говорить о „мальчикахъ“, то чувствую, совершенно отчетливо чувствую, что во мнѣ происходитъ что-то нехорошее. И кровь закипаетъ въ жилахъ, и желчь поднимается, и все кажется, что какъ бы я ни усиливался отыскать здѣсь какую-нибудь примиряющую черту, всякій трудъ въ этомъ смыслѣ будетъ напрасенъ. Откуда это?“

Салтыковъ разсказываетъ дальше образчики поступковъ и разговоровъ этого новаго дѣятеля — одного изъ цѣлаго множества такихъ дѣятелей, расплодившихся въ послѣднее время. „Это цѣлая каста,—говоритъ онъ,— въ которой трепещетъ и бьется одинъ принципъ — неимѣніе никакихъ принциповъ... Намъ не нужно идей,—

[1]) Старые типы „Губернскихъ Очерковъ“.

говорятъ эти люди: — идеи хороши для тѣхъ, кто въ нихъ нуждается для оправданія своего существованія, а мы сами по себѣ составляемъ идею, и слѣдовательно для насъ требуется только солидарность и дисциплина. Понять такую мысль довольно трудно, потому что тутъ собственно есть только зародышъ мысли, но если вникнуть, то окажется, что зародышъ этотъ довольно ехидный". Это міръ безнадежный; напрасно искать здѣсь какихъ-нибудь признаковъ жизни, потому что это только тлѣніе.

Люди этого рода страдаютъ мыслебоязнью и въ упорной борьбѣ съ мыслію призываютъ на помощь интригу. „Интригуетъ такой человѣкъ не очень хитро, но зато усердно, безъ отдыху... И велика бываетъ его радость, когда онъ убѣждается, что врагъ, наконецъ, сваленъ, и притомъ сваленъ средствами самыми незамысловатыми—почти-что съ помощью одного лганья! Гвалтъ, безтолковое карканье стономъ стоитъ надъ болотомъ, и долго потомъ дрянное болотное населеніе будетъ передавать изъ рода въ родъ трогательную повѣсть о томъ, какъ нашимъ чибисамъ удалось взять въ полонъ коршуна"...

Тогдашніе толки о молодомъ поколѣніи производили на Салтыкова удручающее дѣйствіе тою массою лживыхъ обвиненій и клеветъ, которыя распространялись подъ личиною общественнаго блага, а на дѣлѣ были только своекорыстнымъ разсчетомъ, мутившимъ воду для болѣе удобнаго рыболовства. Съ другой стороны, стала опять распространяться „та наука умолчанія, которая въ окончательныхъ результатахъ ведетъ къ полнѣйшей анархіи здраваго смысла".

„Относиться къ молодому поколѣнію отчасти поучительно, отчасти язвительно, видѣть въ немъ элементъ

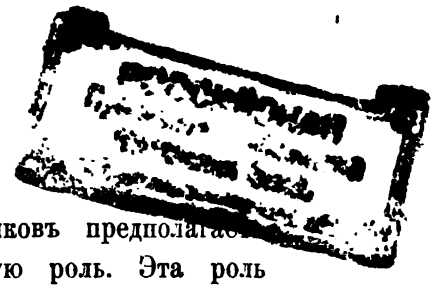
всеразрушающій, всеотрицающій и ничего не созидающій—сдѣлалось дѣломъ почти моднымъ и потому чрезвычайно пріятнымъ и легкимъ. Слова: „космополитизмъ“, „нигилизмъ“, „сепаратизмъ“, „демократизмъ“, „матеріализмъ“ и проч.,—слова, имѣющія смыслъ нарочито порочный, разсыпаются щедрою рукою направо и налѣво, причемъ весьма глубокомысленно не принимается въ соображеніе ни то, къ кому эти эпитеты прилагаются, ни то, по какому случаю они прилагаются, ни то, наконецъ, что они дѣйствительно означаютъ. Дѣло заранѣе полагается для всѣхъ яснымъ, и на всякое возраженіе или недоумѣніе по этому предмету имѣется одинъ отвѣтъ—хохотъ, издревле составляющій, какъ извѣстно, простѣйшую и самую выгодную форму опроверженія. А между тѣмъ, если взглянуть на дѣло попристальнѣе и подобросовѣстнѣе, то, конечно, самый предубѣжденный человѣкъ согласится, что тутъ-то и господствуетъ самый густой туманъ, и именно тотъ туманъ, противъ котораго съ такимъ прискорбнымъ успѣхомъ, хотя и съ противоположной стороны, гремятъ московскіе публицисты. Разсѣйся этотъ туманъ,—и кто знаетъ, во-первыхъ, будетъ ли о чемъ толковать, а во-вторыхъ, если и есть о чемъ толковать, то такимъ ли чисто голословнымъ способомъ, какъ это дѣлалось до сихъ поръ? Но, съ другой стороны, быть можетъ, такое разсѣяніе тумана совсѣмъ и не желательно? быть можетъ, потому-то именно и пріятно положеніе мысли нападающей, что она, благодаря туману, можетъ посылать свои удары, не подвергаясь опасности быть сбитою съ выгодной позиціи?“

Сыпать обвиненіями направо и налѣво, — говоритъ Салтыковъ,—стало дѣломъ чрезвычайно пріятнымъ и сво-

бодным. Образовалась цѣлая литература, поставившая себѣ цѣлью доказывать, что молодое поколѣніе никуда негодно, что оно способно только распространять гангрену разрушенія. „Безсмысленное слово: „нигилисты“, переходитъ изъ устъ въ уста, изъ одного литературнаго органа въ другой... Беллетристы положительно упитываются ими“... Въ образчикъ того, во имя какихъ идей ратуютъ эти обличители, Салтыковъ останавливается на романѣ Клюшникова: „Марево“, теперь совсѣмъ забытомъ, но который тогда высоко ставился въ своемъ лагерѣ. На Салтыкова этотъ романъ производитъ комическое впечатлѣніе; романъ—обличительный; но какъ отрицательные, такъ еще болѣе положительные типы безжизненны и фальшивы. „...Господа Русановы [1]) полагаютъ, что прогрессъ есть нѣчто такое, что совершается само собою, помимо человѣческихъ усилій, и что стоитъ только *погодить*, чтобы получить желаемое. Вѣрный этой теоріи, Русановъ ждетъ и не шевелится, но этого мало: онъ смотритъ въ оба глаза, чтобы и другіе тоже ждали не шевелясь; а такъ какъ подобная каплунья мудрость не всякому легко достается, то выходитъ изъ этого нелѣпая драма“...

Это какой-то Донъ-Кихотъ консерватизма, который наивно думаетъ, что въ жизни большой вѣсъ могутъ имѣть доказательства въ родѣ: „подумайте! что вы дѣлаете!“, „вы погибнете!“ и т. д., который „даже на мысль человѣческую простираетъ свое негодованіе, ибо и у нея отнимаетъ право на тотъ дѣятельный и свободный процессъ, который составляетъ необходимый признакъ ея бытія“.

[1]) Это—главнѣйшій положительный типъ въ романѣ.



Въ дѣйствительной жизни Салтыковъ предполагаетъ для Русановыхъ весьма неблестящую роль. Эта роль проходитъ обыкновенно три періода: первый есть періодъ „убѣжденій“, но столь мизерныхъ, или мертвыхъ, или своекорыстныхъ, что они не имѣютъ никакого дѣйствія, и это оставляетъ въ душѣ убѣждающаго нѣкоторый горькій осадокъ. Второй періодъ есть періодъ, такъ сказать, благоволительно будирующій: герой „сердится, но все еще жалѣетъ; онъ негодуетъ, но хочетъ спасти погибающихъ противъ ихъ собственнаго желанія“, — но безумцы коснѣютъ въ упрямствѣ, и раздраженіе приводитъ героя въ третье и послѣднее отдѣленіе его дѣятельности,—котораго Салтыковъ ближе не опредѣляетъ. Переходя затѣмъ къ „литературнымъ Русановымъ“, Салтыковъ и для нихъ не видитъ иныхъ путей дѣятельности. Они до того не понимаютъ того коренного правила, что всякое явленіе слѣдуетъ разсматривать въ его типическихъ чертахъ, а не въ подробностяхъ и отступленіяхъ,—на которыя они только и бросаются,—и притомъ они являются на общественную дѣятельность въ такомъ нравственномъ и умственномъ убожествѣ, мѣшающемъ имъ даже пріобрѣтать себѣ прозелитовъ, что Салтыковъ заключаетъ: „Можно сказать безошибочно, что они, съ большою выгодою для себя, могли бы отложить къ сторонкѣ свои маленькія скопческія теорійки (которыя, навѣрное, никогда никого не соблазнятъ) и прямо приступить къ третьему періоду той гражданской дѣятельности, о которой упомянуто выше. Это спасло бы ихъ отъ потери драгоцѣннаго времени, а лицъ, къ которымъ они простираютъ свои притязанія, отъ обязательнаго выслушиванія противной либерально-размазистой болтовни“...

Въ понятіяхъ русскаго общества о положеніи вещей, объ этомъ молодомъ поколѣніи, осыпаемомъ безсмысленными обвиненіями, происходитъ невообразимая и жалкая путаница. Неприхотливость русской публики извѣстна: она не любитъ анализировать и желаетъ, чтобы писатель дѣйствовалъ на нее живыми образами и доказывалъ уподобленіями,—и литература, которая принялась изображать ей положеніе вещей съ точки зрѣнія Русановыхъ, окончательно сбиваетъ ее съ толку. „Когда преднамѣренно и сознательно смѣшиваются понятія самыя противоположныя, когда этимъ смѣшеніемъ угощается публика мало свѣдущая и плохо различающая, и когда вся эта нетрудная работа производится безвозражательно, то понятно, что публика становится, такъ сказать, въ положеніе крѣпостного человѣка, который, постояннымъ давленіемъ на него крѣпостного права, доводился, наконецъ, до совершенной безчувственности и полнаго непониманія его ненормальности“... Публика, воспитанная на каррикатурныхъ изображеніяхъ молодого поколѣнія, „доводимая до опьянѣнія наркотическими завываніями „Московскихъ Вѣдомостей“ и не видя этой галиматьѣ отпора, публика не вступаетъ даже въ разбирательство причинъ, почему нѣтъ и не можетъ быть этого отпора, а прямо приходитъ къ убѣжденію, что такъ тому дѣлу и быть“.

Ко всему этому присоединяется еще одно обстоятельство. Салтыковъ находитъ въ литературѣ группу людей, которые, не совпадая съ литературными Русановыми, въ сущности имъ помогаютъ. Онъ разумѣлъ ту группу, которая принялась по-своему объяснять мнимыя стремленія молодого поколѣнія и собирать ихъ кодексъ. Извѣстно, что это была та группа, во главѣ которой стоялъ Писа-

ревъ (затѣмъ Зайцевъ, Соколовъ и др.) и которая имѣла своимъ органомъ журналъ „Русское Слово“ (позднѣйшее „Дѣло“). Началось съ того, что когда появился знаменитый романъ: „Отцы и Дѣти“, мнѣнія о немъ чрезвычайно разошлись. Романъ явился въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, гдѣ уже завелось реакціонное депо, гдѣ вскорѣ послѣ „Отцовъ и Дѣтей“ напечатанъ былъ романъ Клюшникова и писались тѣ коварные трактаты, противъ которыхъ съ такимъ негодованіемъ возставалъ Салтыковъ. Появленіе „Отцовъ и Дѣтей“ было привѣтствовано въ реакціонномъ лагерѣ какъ союзническая демонстрація; къ этому давали поводъ разныя подробности романа. Напримѣръ, цѣлая неловкая параллель между двумя поколѣніями, гдѣ старшее окружалось видимыми сочувствіями, а младшее, въ лицѣ Базарова, изображалось хотя съ извѣстными чертами ума и силы, но, видимо, автору было антипатично и его отталкивало, изображалось какъ будто лишеннымъ принциповъ, чувства изящнаго и даже нормальнаго человѣческаго чувства. Соотвѣтственно этому, въ другомъ лагерѣ романъ Тургенева также произвелъ впечатлѣніе воинственной демонстраціи. Мы видѣли выше, какъ относился къ нему Салтыковъ, какъ мало убѣждала его сдѣланная Тургеневымъ характеристика старшаго поколѣнія, надъ которымъ Салтыковъ ядовито смѣялся, какимъ неблагополучнымъ изобрѣтеніемъ представлялось ему слово: „нигилизмъ“,—этимъ словомъ, видимо, опредѣлялось и для самого писателя содержаніе новаго, возникавшаго міровоззрѣнія, и это слово особливо понравилось тѣмъ полудикимъ элементамъ русскаго общества, представителямъ невѣжественной реакціи и застоя, для которыхъ оно послужило прикрытіемъ ихъ раздраженія противъ вся-

кихъ новыхъ запросовъ жизни. Была, наконецъ, третья группа, упомянутые писатели „Русскаго Слова“, которые отнеслись къ „Отцамъ и Дѣтямъ“ опять по-своему. Писаревъ, въ то время еще весьма юный, но, безъ сомнѣнія, талантливый и искренній мечтатель, за которымъ шли другіе, хотя иногда вовсе не талантливые мечтатели, понялъ „Отцовъ и Дѣтей“ совершенно своеобразно: онъ не предполагалъ въ романѣ Тургенева той полемической тенденціи, которую одинаково видѣли въ немъ двѣ упомянутыя стороны тогдашней литературы (и которая въ немъ несомнѣнно присутствовала), принялъ, напротивъ, произведеніе Тургенева какъ свободное художественное твореніе, и не только не находилъ въ изображеніи Базарова какого-либо враждебнаго замысла, но понялъ его какъ положительный типъ, которому самъ онъ вполнѣ сочувствовалъ. По мнѣнію Писарева, таково и было молодое поколѣніе, таково оно и должно было быть; въ Базаровѣ не было для него какого-либо отрицательнаго изображенія, несочувственнаго лица,—совсѣмъ напротивъ: что̀ отрицалъ Базаровъ, то и заслуживало отрицанія; что̀ другимъ казалось грубымъ отношеніемъ къ жизни, къ обществу, искусству, то было настоящимъ реализмомъ, которому и слѣдовало получить дальнѣйшее развитіе и распространеніе.

Можно себѣ представить, какъ долженъ былъ на это взглянуть Салтыковъ. Нѣсколько раньше онъ коснулся уже весьма недружелюбно того литературнаго лагеря, къ которому примкнулъ Писаревъ; а теперь, когда его косвенное нападеніе было понято и вызвало бранчивый отвѣтъ, онъ высказался съ полною откровенностью. Не называя именъ, онъ крайне рѣзко характеризуетъ лите-

ратурную партію, которая способствуетъ извращенію общественныхъ понятій не меньше реакціонеровъ, но съ противоположной стороны. „Всего болѣе,—говоритъ онъ,—содѣйствуютъ заблужденію публики нѣкоторые вислоухіе и юродствующіе, которые съ ухарскою развязностью прикомандировываютъ себя къ дѣлу, дѣлаемому молодымъ поколѣніемъ, и, схвативъ одни наружные признаки этого дѣла, совершенно искренно исповѣдуютъ, что въ нихъ-то вся и сила. Эти люди считаютъ себя какими-то сугубыми представителями молодого поколѣнія, забывая, что дрянь есть явленіе общее всѣмъ вѣкамъ и странамъ, и что совершенно несправедливо и даже непозволительно навязывать ее исключительно современному русскому молодому поколѣнію".

Самое худшее положеніе мысли—когда она не имѣетъ даже возможности объяснить себя надлежащимъ образомъ и освободить изслѣдуемый предметъ отъ примѣсей, которыя ему вредятъ. Таковъ, между прочимъ, вопросъ о молодомъ поколѣніи, который находится въ туманѣ не только для общества, но и для тѣхъ, къ кому онъ ближайшимъ образомъ относится. Этотъ туманъ способствуетъ и тому, что появляются люди, полагающіе, что въ Базаровѣ заключается типъ прогрессиста. Салтыковъ говоритъ, что онъ разъ попробовалъ выдѣлить вислоухихъ и юродствующихъ изъ общаго представленія о молодомъ поколѣніи; мимоходная и лишенная всякаго злостнаго характера замѣтка [1]) привела въ великое раздраженіе тѣхъ, къ кому относилась, и они,—говоритъ Салтыковъ,— „стали доказывать, что я всегда былъ *такой*,

[1]) „Наша общественная жизнь", „Современникъ", 1864, январь.

что въ прошломъ году я притворялся, а теперь, дескать, не выдержалъ и обнаружилъ свою настоящую суть. Очень пріятно". Да, — говоритъ онъ, — я всегда былъ такой: „Вислоухіе никогда не прельщали меня; я всегда былъ того мнѣнія, что они однимъ своимъ участіемъ дѣлаютъ неузнаваемымъ всякое дѣло, до котораго прикасаются... Въ прошломъ году, какъ и нынѣче, я съ сожалѣніемъ смотрѣлъ на людей, которые въ словѣ: „нигилизмъ" обрѣли для себя какую-то тихую пристань, въ которой можно отдыхать свободно... Я находилъ, что эти невинныя существа отнюдь не должны считаться представителями какого бы то ни было поколѣнія, но что они изображаютъ собой тотъ паразитскій, изъ угла въ уголъ шатающійся элементъ, отъ котораго, по несчастію, не можетъ быть свободно никакое, даже самое лучшее дѣло". Если онъ былъ прежде нѣсколько неясенъ относительно этого пункта, это происходило отъ того, что сюжетъ еще слишкомъ деликатенъ и при журнальной работѣ писатель не всегда имѣетъ возможность быть достаточно понятенъ. Теперь онъ постарается быть вразумителенъ.

„Всякая партія, всякое дѣло имѣютъ своихъ enfants terribles, которые до тѣхъ поръ и бываютъ терпимы, покуда дѣло еще слабо, и покуда малѣйшій разладъ въ нѣдрахъ той партіи, которая его поддерживаетъ, можетъ повредить ему. Эти enfants terribles юродствуютъ, мечутся, не умѣютъ держать языкъ за зубами и всего охотнѣе хватаются за внѣшніе признаки дѣла, такъ какъ другихъ они и понимать не могутъ. Серьезно на нихъ никто и не смотритъ, но, видя, съ одной стороны, ихъ невинность и усердіе, а съ другой — опасаясь, чтобы отъ ихъ невоздержности не изгибло хорошее дѣло, ста-

раются дѣйствовать на нихъ посредствомъ ласки, которая, какъ извѣстно, имѣетъ свойство отчасти поощряющее, а отчасти умѣряющее". Но среди этихъ enfants terribles являются горлопаны, которые начинаютъ проповѣдовать громко, самодовольно и съ ожесточеніемъ; на нихъ ласка уже не дѣйствуетъ, и серьезному дѣлу надо оградить себя отъ ихъ навязчивости.

„Въ позапрошломъ году пущено было въ ходъ слово: „нигилизмъ",—слово, не имѣющее смысла и всего менѣе характеризующее стремленія молодого поколѣнія, въ которыхъ можно, пожалуй, различить всякаго рода „измы", но отнюдь не нигилизмъ. Между тѣмъ слово пошло въ ходъ и получило право гражданственности, и совсѣмъ не потому, что его пустилъ въ ходъ г. Тургеневъ (это-то бы еще не большая бѣда), а именно благодаря тѣмъ вислоухимъ, которые ухватились за него, словно утопающіе за соломенку, стали драпироваться въ него, какъ въ нѣкую златотканную мантію, и изъ безсмыслицы сдѣлали себѣ знамя... Это ужъ такая несчастная страсть—красоваться глупостями, бесѣдовать о глупостяхъ и лѣзть на стѣну по поводу глупостей, и главный источникъ этой страсти заключается, конечно, въ скудномъ запасѣ умственныхъ способностей.

„Другой примѣръ: въ прошломъ году вышелъ романъ „Что̀ дѣлать", — романъ серьезный, проводившій мысль о необходимости новыхъ жизненныхъ основъ и даже указавшій на эти основы. Авторъ этого романа, безъ сомнѣнія, обладалъ своею мыслью вполнѣ, но именно потому-то, что онъ страстно относился къ ней, что онъ представлялъ ее себѣ живою и воплощенною, онъ и не могъ избѣжать нѣкоторой произвольной регламентаціи

подробностей, и именно тѣхъ подробностей, для предугаданія и изображенія которыхъ дѣйствительность не представляетъ еще достаточныхъ данныхъ. Для всякаго разумнаго человѣка это фактъ совершенно ясный, и всякій разумный человѣкъ, читая упомянутый выше романъ, съумѣетъ отличить живую и разумную его идею отъ сочиненныхъ и только портящихъ дѣло подробностей. Но вислоухіе понимаютъ дѣло иначе; они обходятъ существенное содержаніе романа и пріударяютъ насчетъ подробностей, а изъ этихъ подробностей всего болѣе соблазняетъ ихъ перспектива работать съ пѣніемъ и плясками... И когда такія ихъ пошлыя продѣлки останавливаютъ чье-нибудь насмѣшливое вниманіе, то они на того человѣка указываютъ пальцами и восклицаютъ: „Эге! да вы, кажется, ужъ надъ Чернышевскимъ глумитесь!“ И, такимъ образомъ, сваливая съ больной головы на здоровую, думаютъ прикрыть свое неистовое нравственное убожество.

„Третій примѣръ представляетъ вопросъ женскій... но здѣсь предпочитаю остановиться, потому что вовсе не желаю увлекаться, а говорить хладнокровно объ этомъ предметѣ, благодаря паскудному покрову, который набросили на него вислоухіе, совсѣмъ не легко“.

Салтыковъ доводитъ свою характеристику до конца.

„Однимъ словомъ, нѣтъ мысли, которой наши вислоухіе не обезславили бы, нѣтъ дѣла, котораго они не засидѣли бы. „Я демократъ“,—говоритъ вамъ вислоухій, и доказываетъ это тѣмъ, что ходитъ въ поддевкѣ и сморкается безъ помощи платка. „Я нигилистъ и не имѣю никакихъ предразсудковъ“,—говоритъ вамъ другой вислоухій, и доказываетъ это тѣмъ, что во всякое время дня готовъ выбѣжать голый на улицу. И напрасно вы будете

увѣрять его, что въ первомъ случаѣ онъ совсѣмъ не демократъ, а только нечистоплотный человѣкъ, и что во второмъ случаѣ онъ тоже не болѣе какъ бойкій человѣкъ, безъ надобности подвергающій себя заключенію въ частномъ домѣ—не повѣритъ онъ ни за что и васъ же обругаетъ аристократомъ и отсталымъ человѣкомъ".

Сравнивъ enfants terribles съ обезьянами на петербургской биржѣ, безсмысленно повторяющими человѣческія движенія, Салтыковъ соглашается, что на нихъ можно было бы не обращать вниманія; но вислоухіе — другое дѣло: „они лѣзутъ впередъ, входятъ въ азартъ, выдаютъ себя за людей серьезныхъ и убѣжденныхъ и подбираютъ себѣ поклонниковъ".

„Посторонній зритель, непосвященный, смотритъ на вислоухаго уже съ нѣкоторымъ трепетнымъ смиреніемъ, какъ на сосудъ нѣкій, въ которомъ заключена мудрость будущаго, и если ему порою кажется, что эта мудрость смахиваетъ на ерунду, то онъ тутъ же спѣшитъ поправиться и увѣрить себя, что это отъ того ему такъ кажется, что онъ самъ преисполненъ ерунды, а что ерунда вислоухаго есть дѣйствительная мудрость, но только мудрость не настоящаго, а будущаго. Скажите же, не обидно ли это?

„Итакъ, вотъ какихъ именно вислоухихъ и юродствующихъ имѣлъ я въ виду въ моемъ январьскомъ обозрѣніи нашей общественной жизни, а совсѣмъ не то, чтобы „выругать огуломъ молодежь", какъ выразился въ письмѣ ко мнѣ нѣкоторый анонимный корреспондентъ, который обругалъ меня при этомъ самымъ вислоухимъ образомъ. Ибо я очень хорошо понимаю, что взглядъ на молодое поколѣніе, какъ и на всякое другое, долженъ

опредѣляться общею его дѣятельностью, общими его стремленіями, а не уклоненіями и уродствами, хотя бы этихъ послѣднихъ было и великое множество".

Этою статьею заканчивается рядъ общественныхъ хроникъ Салтыкова. Сколько мы знаемъ, онъ впослѣдствіи не возвращался уже къ этой формѣ бесѣды съ читателями о текущихъ вопросахъ общественной жизни и литературы. Позднѣйшія произведенія его, почти исключительно беллетристическія, продолжали, конечно, давать массу типовъ, гдѣ, между прочимъ, характеризовались и направленія литературныя; но обыкновенно это были уже болѣе или менѣе обобщенные очерки, а не такое непосредственное вмѣшательство въ текущіе вопросы и толки общественнаго мнѣнія и литературы, какое мы видимъ въ перечисленныхъ здѣсь статьяхъ.

Мы видѣли, что Салтыковъ, здѣсь въ первый разъ вступившій на чисто публицистическое поприще, очень вѣрно оріентировался въ тогдашнемъ смутномъ положеніи вещей и умѣлъ высказаться достаточно ясно среди трудностей, какія представляло тогдашнее запутанное время. Начинался разгаръ реакціи; недавнія восторженныя стремленія къ прогрессу стали быстро линять и стираться, и когда внѣшняя опора прежняго либерализма отпала, въ массѣ общества оказалась та безсодержательность, какою она искони отличалась. Въ литературѣ началось отступленіе: одни, не сознавая достаточно, въ чемъ дѣйствительно нуждалось общество, вѣроятно искренно подумали, что въ самомъ дѣлѣ оно ушло куда-то слишкомъ далеко по пути прогресса, и придумывали тѣ сентимен-

тально-консервативныя теоріи, какія тогда проповѣдовали журналы „Время“ и „Эпоха“; другіе, какъ славянофилы, относились ко всему движенію недовѣрчиво или даже свысока, потому что оно шло совсѣмъ не въ томъ направленіи, какое было по ихъ мнѣнію нужно,—они продолжали толковать о „петербургскомъ періодѣ“, о „Русляндіи“ и подобныхъ невинныхъ выдумкахъ; но практическіе дѣльцы, какіе тотчасъ отыскались въ литературѣ, выступили обдуманно на путь реакціи, наклонность къ которой они предполагали, все съ бо́льшею увѣренностью, во вліятельныхъ сферахъ. Наконецъ, было еще то легкомысленное движеніе, о которомъ шла рѣчь въ послѣднихъ приведенныхъ цитатахъ. Салтыковъ очень ярко опредѣлилъ всѣ названныя направленія. То время, 1863—1864 годы, наполняло его вообще глубокою печалью. Онъ упоминаетъ мимоходомъ, полу-шутя, что въ 50-хъ годахъ и самъ онъ увлекался надеждами на будущіе успѣхи общества; вѣроятно, въ то время онъ и серьезно питалъ подобныя надежды, когда одновременно съ заявленіемъ великой реформы онъ писалъ „Губернскіе Очерки“, хоронившіе старый общественный бытъ. Но надежды уже вскорѣ начали ослабѣвать и, вѣроятно, совсѣмъ упали въ 1862 году. Теперь ему казалось, что эти надежды были самымъ простодушнымъ заблужденіемъ: такъ-называемое общество ничтожно; то, какъ оно говорило теперь, показывало, что его недавнія увлеченія были однимъ пустословіемъ. Салтыкова болѣзненно поражали эти явленія умственнаго и гражданскаго ничтожества, эта готовность снова погрузиться въ старую пошлость, эта путаница мыслей и, наконецъ, отступничество; а съ другой стороны, онъ раздражался тѣмъ извращеніемъ новыхъ

общественныхъ стремленій, какое находилъ въ лагерѣ тѣхъ, кого называлъ „вислоухими“. Это время, когда онъ такъ пристально слѣдилъ за отраженіями общественнаго мнѣнія въ литературѣ, является критическимъ во всей его дѣятельности: съ этихъ поръ въ особенности его произведенія посвящены изображенію нашей общественной жизни въ періодѣ реакціи.

Внимательный читатель замѣтитъ, что въ этомъ отношеніи Салтыкова къ массѣ общества повторяются отчасти мотивы, высказанные уже раньше; такова была передъ тѣмъ точка зрѣнія Добролюбова: дѣятельность послѣдняго направлялась въ особенности на выясненіе тѣхъ высокихъ умственныхъ и гражданскихъ задачъ, которыя предстояли обществу и были для него необходимымъ, единственнымъ залогомъ его нравственнаго достоинства, и на устраненіе тѣхъ искаженій, какимъ новыя общественныя стремленія подвергались подъ вліяніемъ осадковъ стараго невѣжества и крѣпостничества... При этомъ совпаденіи Салтыковъ, конечно, оставался все-таки самимъ собой: онъ руководился своими собственными, давно возникшими идеалами; эти идеалы въ ближайшемъ смыслѣ были весьма умѣренны,—онъ слишкомъ хорошо зналъ русскую жизнь, чтобы ждать чего-нибудь необычайнаго,—но данная дѣйствительность была такъ далека даже отъ умѣренныхъ ожиданій, что изображеніе ея принимало тонъ негодованія и язвительной иронія.

Къ концу 1864 года дѣятельность Салтыкова въ „Современникѣ“ ослабѣваетъ. Противники, особливо подвергавшіеся нападеніямъ съ его стороны [1]), распространяли слухи, будто журналъ не хотѣлъ больше давать

[1]) Журналы „Эпоха“, „Русское Слово“.

мѣста его произведеніямъ, что въ средѣ его круга произошелъ „расколъ“: напротивъ, сотрудничество Салтыкова продолжалось до самаго конца 1864 года, и послѣ участіе въ редакціи прекратилось потому только, что въ это время онъ принялъ представившееся ему служебное назначеніе. Послѣдняя работа Салтыкова въ „Современникѣ“ („Завѣщаніе моимъ дѣтямъ“) явилась въ 1866, послѣднемъ году существованія самого журнала. Что журналъ не расходился съ Салтыковымъ во взглядахъ на упомянутыя направленія тогдашней литературы, въ этомъ легко убѣдиться, припомнивъ, что какъ при Салтыковѣ, такъ и послѣ, въ „Современникѣ“ одинаково велась упорная полемика противъ „Эпохи“, „Дня“, „Русскаго Вѣстника“, „Московскихъ Вѣдомостей“ (статьи М. А. Антоновича, Г. З. Елисѣева) и противъ „Русскаго Слова“ (статьи Ю. Г. Жуковскаго).

Далѣе мы остановимся еще на одной сторонѣ тогдашней дѣятельности Салтыкова, не представленной собраніями его сочиненій и теперь очень немногимъ извѣстной—именно на его литературной критикѣ.

III.

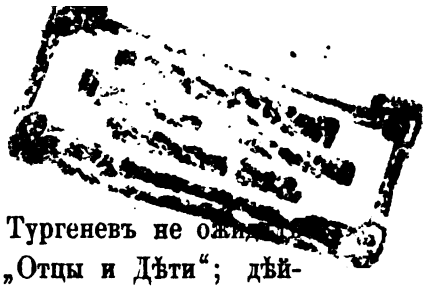
Въ числѣ статей Салтыкова, не вошедшихъ въ собранія его сочиненій и частію теперь забытыхъ, или совсѣмъ неизвѣстныхъ даже его почитателямъ, очень любопытны статьи, гдѣ высказываются его литературныя мнѣнія. Отчасти эти мнѣнія встрѣчаются въ тѣхъ публицистическихъ хроникахъ, на которыхъ мы до сихъ поръ останавливались, отчасти въ спеціальныхъ критическихъ замѣткахъ по поводу разныхъ явленій тогдашней литературы, крупныхъ и мелкихъ. Литературные взгляды большихъ писателей всегда интересны: они объясняютъ собственную дѣятельность писателя и могутъ доставлять важныя черты вообще для опредѣленія процесса художественнаго творчества. И въ томъ, и въ другомъ отношеніи литературные взгляды Салтыкова нерѣдко чрезвычайно характерны.

Салтыковъ и въ упомянутыхъ трудахъ, и, кажется, нигдѣ въ другихъ своихъ сочиненіяхъ не касался общихъ вопросовъ объ искусствѣ и о существѣ поэзіи, и вообще онъ не вдавался въ отвлеченную философію; основа его взглядовъ въ этомъ отношеніи была, безъ сомнѣнія, та

же, какая господствовала въ сороковыхъ годахъ, именно въ послѣдніе годы дѣятельности Бѣлинскаго; тѣмъ не менѣе, въ его отзывахъ о данныхъ литературныхъ фактахъ найдется много оригинальнаго. Прежде всего проходитъ во всѣхъ его сочиненіяхъ, — не говоря о тѣхъ частныхъ эпизодахъ, на которыхъ мы теперь остановимся,—высокое представленіе о литературѣ. Любовь къ литературѣ, это — необходимая стихія его жизни, это точно болѣзнь по тѣмъ испытаніямъ, какія она постоянно приноситъ съ собой, но въ то же время—единственная дѣятельность, гдѣ онъ находитъ нравственное удовлетвореніе, гдѣ можетъ дать мѣсто своимъ задушевнымъ стремленіямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ литература есть дѣятельность общественная, со всѣми обязанностями, какія налагаетъ подобная дѣятельность, и даже по преимуществу влекущая за собой строгую отвѣтственность: въ области литературы дѣйствіе писателя не есть единичный поступокъ, утопающій въ массѣ другихъ фактовъ, гдѣ ошибка можетъ не имѣть особливо серьезныхъ послѣдствій; дѣйствіе писателя не ограничивается данной минутой,—оно закрѣпляется печатью, и какъ благотворное, такъ и зловредное вліяніе его распространяется на массу людей и на продолжительное время. Сужденія Салтыкова въ вопросахъ литературы поэтому всегда очень суровыя— не только въ публицистикѣ, гдѣ ставятся прямые общественные вопросы, но и въ поэтической области, потому что и послѣдняя всегда болѣе или менѣе, явно или косвенно, соприкасается съ тѣми же общественными вопросами. Мы увидимъ дальше, что онъ мало вѣритъ въ такъ-называемое „чистое искусство“: такимъ искусствомъ не были, по его взгляду, даже произведенія, повидимому

отрѣшенныя отъ непосредственной дѣйствительности и посвященныя общимъ вопросамъ нравственной человѣческой жизни. Въ узкихъ предѣлахъ нашей литературы это чистое искусство есть тѣмъ болѣе нѣчто воображаемое. Напротивъ, литература тѣснѣйшимъ образомъ связана съ дѣйствительною жизнью, гдѣ вѣчно идетъ борьба враждебныхъ принциповъ или различныхъ ступеней развитія: писатель сознательно или безсознательно, но непремѣнно становится на ту или другую сторону, становится партизаномъ или врагомъ того или другого соціальнаго или нравственнаго начала. У него можетъ не быть такъ-называемой „тенденціи“, т.-е. какой-либо спеціальной, намѣренно-придуманной цѣли, но принадлежность къ тому или иному лагерю тѣмъ не менѣе выскажется. Мы видѣли, какъ горячо Салтыковъ принималъ къ сердцу то броженіе или то шатанье понятій, какое послѣдовало въ нашемъ обществѣ и литературѣ тотчасъ послѣ исполненія крестьянской реформы; въ тогдашней печати не было, кажется, другого примѣра такой страстности, какая обнаруживалась въ обличеніяхъ Салтыкова. Ренегатство однихъ, запутанное резонерство другихъ вызывали въ немъ или язвительную насмѣшку, или раздражительное негодованіе, или, наконецъ, глубоко серьезныя указанія на простую сущность совершавшихся явленій. То же чуткое вниманіе направлялось у него и на произведенія чисто литературныя.

Въ предыдущемъ изложеніи мы встрѣчались уже не разъ съ его мимоходными отзывами о романѣ Тургенева, въ то время самомъ крупномъ литературномъ явленіи, которое на многіе годы дало пищу литературнымъ толкамъ и, въ сущности, продолжаетъ давать ее до сихъ



поръ. Очень возможно, что самъ Тургеневъ не ожи[illegible] того дѣйствія, какое произвели „Отцы и Дѣти“; дѣйствіе было, однако, очень большое, не потому, чтобы романъ дѣйствительно вѣрно угадалъ и изобразилъ настоящее состояніе умовъ и характеръ двухъ поколѣній (хотя частію было и это), но потому, что общая тема въ самомъ дѣлѣ затронула спорный пунктъ или больное мѣсто тогдашняго общественнаго разлада. Сюжетъ, не важный въ романическомъ смыслѣ, направленъ былъ на различіе или противоположность двухъ поколѣній. Противоположность несомнѣнно была и притомъ чрезвычайно крупная, историческая. Она назрѣвала давнымъ-давно: въ молодыхъ поколѣніяхъ еще съ Николаевскихъ временъ, особливо съ „сороковыхъ годовъ“, накоплялось отрицательное отношеніе къ господствующимъ идеямъ и нравамъ и стремленіе къ иному, болѣе человѣчному порядку вещей. Въ новое царствованіе эти давніе порывы нашли удовлетвореніе въ крестьянской реформѣ. Освобожденіе крестьянъ затронуло матеріальные интересы именно того сословія, которому принадлежало наибольшее образованіе, въ средѣ котораго по преимуществу развивались и созрѣвали прогрессивныя стремленія. Наиболѣе просвѣщенная и великодушная часть этого сословія помирилась съ матеріальными потерями, привѣтствовала реформу и положила на ея осуществленіе прилежный, добросовѣстный трудъ; но понятно, что не такъ относилась къ дѣлу масса этого сословія. Въ массѣ не бываетъ героевъ и великодушныхъ людей; въ ней должны были сказаться нарушенные матеріальные интересы, тѣмъ болѣе, что для очень многихъ потеря становилась настоящимъ экономическимъ кризисомъ и къ перенесенію этого кризиса боль-

шинство не было ни предупреждено, ни подготовлено: прежніе, очень недавніе порядки, въ которыхъ еще вчера жило общество, напротивъ, категорически настаивали на незыблемости крѣпостного права, какъ одной изъ государственныхъ „основъ“, сомнѣніе въ которомъ не допускалось и каралось какъ политическое преступленіе. Понятно, что вся эта масса—и къ ней принадлежало также много вліятельныхъ и богатыхъ людей стараго вѣка—хотя и покорилась необходимости, но въ душѣ отвергала реформу самымъ рѣшительнымъ образомъ, какъ несправедливость и даже какъ государственную ошибку, допустившую въ такомъ серьезномъ и громадномъ вопросѣ тотъ либерализмъ, который еще въ недавнее время столь строго преслѣдовался самою властью. Съ отрицаніемъ реформы соединялось у этихъ людей отрицаніе всего новаго порядка идей, который получилъ возможность хотя до извѣстной степени высказаться съ первыхъ годовъ новаго царствованія, и раздраженные враги освобожденія крестьянъ, разумѣется, не щадили красокъ для изображенія превратныхъ и опасныхъ принциповъ новѣйшаго либерализма. Въ первое время нашего „прогресса“ послѣ Крымской войны, эта консервативная точка зрѣнія замолкла и почти не высказывалась, подъ давленіемъ фактовъ, слишкомъ краснорѣчиво изобличавшихъ старый застой, а также подъ давленіемъ авторитета самой власти, которая хотя весьма осторожно и въ уклончивыхъ формахъ, но тѣмъ не менѣе рѣшительно заявила инціативу крестьянской и другихъ реформъ; отчасти въ то время эта консервативная партія еще не имѣла достаточнаго матеріала для нападеній на либерализмъ, отождествленный съ молодымъ поколѣніемъ, которое въ то время

естественно стало его ревностнымъ прозелитомъ. Но это длилось не долго. „Либерализмъ“, говоря вообще, былъ по всѣмъ историческимъ преданіямъ не во вкусѣ нашего быта, и то настроеніе, какое питалось большинствомъ, въ концѣ концовъ взяло верхъ въ общественной массѣ, а также и во взглядахъ правительства. Началось обратное теченіе и съ перваго раза еще съ 1861, а особливо съ 1862 года, хлынулъ потокъ злостныхъ обвиненій противъ молодого поколѣнія, гдѣ всякое лыко стало ставиться въ строку, даже такое лыко, которое совсѣмъ къ дѣлу не относилось; въ литературѣ начались отступничества, благоразумныя разсужденія о „постепенности“, философскія размышленія о „почвѣ“, а затѣмъ злостные походы и прямые доносы на либерализмъ молодыхъ поколѣній и тому подобное; въ жизни общественной—соотвѣтственныя явленія.

Въ эту минуту явился романъ Тургенева. Мы говорили прежде, какъ онъ былъ принятъ разными лагерями. Салтыковъ замѣчалъ съ укоризной, что Тургеневъ оказалъ услугу реакціонному лагерю, выдумавши слово „нигилизмъ“: въ немъ нашли готовую кличку для понятія, котораго не умѣли до тѣхъ поръ выразить противники молодого поколѣнія, но кличку безсмысленную, потому что она давала только брань, а вовсе не опредѣленіе весьма серьезнаго общественнаго разлада. Нѣтъ сомнѣнія, и самъ Салтыковъ, вѣроятно, не сомнѣвался, что Тургеневъ нисколько не разсчитывалъ такъ услужить крѣпостникамъ; его противоположеніе отцовъ и дѣтей вращалось въ другой области: отцы — это люди сороковыхъ годовъ, какъ онъ ихъ понималъ, идеалисты и любители изящнаго; дѣти—это сухіе реалисты, равно-

душные къ искусству и доводящіе разсудочный анализъ до разрушенія всѣхъ тѣхъ поэтическихъ стремленій, которыя одни облагораживаютъ человѣческую жизнь. Но, не говоря о томъ, что внѣшнимъ образомъ появленіе романа Тургенева было обставлено весьма для него неблагопріятно—романъ появился въ журналѣ, въ то время явно вступавшемъ на реакціонный путь, — и такъ или иначе встрѣтилъ сочувствіе въ такихъ сферахъ, сочувствіе которыхъ самому автору бывало въ другое время нежелательно; и не говоря о томъ, что въ романѣ несомнѣнно отразились въ той или другой степени чисто личныя антипатіи писателя, Салтыковъ видѣлъ глубокую ошибку въ самомъ изображеніи двухъ поколѣній. Идеализмъ людей сороковыхъ годовъ, которому Тургеневъ посвятилъ здѣсь столько сочувствій, имѣлъ свои слабыя стороны: если въ средѣ лучшихъ представителей той эпохи этотъ идеализмъ велъ къ дѣятельному протесту противъ невѣжественнаго застоя и безчеловѣчныхъ нравовъ, то въ людяхъ средняго, обыкновеннаго уровня онъ слишкомъ часто вырождался въ простое идеальничанье, въ маниловское самодовольство, которое сводилось къ лѣнивой мечтательности въ самой средѣ крѣпостного быта. Съ другой стороны, опредѣлить стремленія новыхъ поколѣній какъ „нигилизмъ“, слово, которое, по замѣчанію Салтыкова, не имѣетъ никакого смысла, значило совсѣмъ не понять этихъ стремленій, въ которыхъ, напротивъ, было, можетъ быть, не вполнѣ выработанное (по внѣшней невозможности), но весьма опредѣленное содержаніе. Вмѣстѣ съ тѣмъ Тургеневъ былъ авторитетный писатель, за которымъ надо было предполагать близкое знакомство съ дѣломъ, писатель, за которымъ признавали знаніе рус-

скаго общества и въ томъ лагерѣ, противъ котораго онъ теперь несомнѣнно выступалъ. Потому неправильность, то-есть просто фактическую невѣрность изображенія Салтыковъ считалъ тѣмъ болѣе предосудительной ошибкой Тургенева, тѣмъ болѣе вредными ея послѣдствія, и это было справедливо. Салтыковъ подмѣтилъ вѣрно слабую сторону тургеневскихъ идеалистовъ, изъ которыхъ, какъ онъ подозрѣвалъ, могли бы выходить отличные молодые дѣльцы новѣйшаго реакціоннаго направленія, какихъ онъ въ изобиліи изображалъ въ своихъ произведеніяхъ съ первыхъ 60-хъ годовъ [1]). Сколько мы знаемъ, у Салтыкова осталась до конца доля извѣстнаго недовѣрія къ Тургеневу, именно недовѣрія къ правильности его пониманія нашихъ общественныхъ отношеній.

Въ ту пору, какъ извѣстно, появился цѣлый рядъ обличительныхъ повѣстей и романовъ, направленныхъ противъ молодого поколѣнія: „Марево“ Клюшникова, „Взбаламученное море“ Писемскаго, „Некуда“ Лѣскова и т. п. Тургеневъ, въ романѣ котораго и кромѣ фигуры

---

[1]) Выше указанъ въ одной изъ общественныхъ хроникъ Салтыкова („Современникъ“, 1864, № 3) одинъ изъ первыхъ типовъ этого рода, представленный Салтыковымъ, типъ молодого бюрократа, воспитаннаго „въ очень миломъ заведеніи, имѣвшемъ спеціальностью выпускать изъ нѣдръ своихъ совершенно готовыхъ общественныхъ дѣятелей“, и, несмотря на свою молодость, уже выработавшаго теорію ежовыхъ рукавицъ, чѣмъ и обратилъ на себя вниманіе вліятельныхъ покровителей. Начиная говорить объ этомъ типѣ, Салтыковъ замѣчаетъ, что на этого рода молодомъ поколѣніи „могутъ съ довѣрчивостію и любовію отдохнуть взоры московскихъ публицистовъ“. „И еслибы,—продолжаетъ Салтыковъ,—И. С. Тургеневъ попристальнѣе слѣдилъ за нашею современностью, то нѣтъ сомнѣнія, что отъ наблюдательнаго взора его не ускользнуло бы это новое явленіе русской жизни. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что уже въ изображеніи молодого Кирсанова (въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“) онъ обнаружилъ нѣкоторые признаки знакомства съ нимъ“.

Базарова были обличительныя подробности по адресу молодого поколѣнія, являлся какъ бы инициаторомъ этого направленія, и появленіе такихъ сотрудниковъ въ ту пору увеличивало неблагопріятное впечатлѣніе, произведенное въ другой долѣ литературы „Отцами и Дѣтьми“. Немудрено, что Салтыковъ могъ цитировать героевъ и героинь Тургенева на ряду съ таковыми же Клюшникова.

Въ началѣ 1864 года Салтыковъ далъ свой отзывъ и по поводу „Марева“ [1]). Этотъ романъ, теперь, кажется, абсолютно забытый, въ свое время произвелъ пріятное впечатлѣніе между людьми, находившими удовольствіе въ травлѣ молодого поколѣнія. Салтыковъ остановился на немъ не ради какихъ-нибудь литературныхъ достоинствъ — онъ ихъ совершенно не находилъ и считалъ романъ младенческимъ произведеніемъ,—а какъ на примѣрѣ тогдашнихъ общественныхъ вкусовъ. Романъ появился въ томъ же „Русскомъ Вѣстникѣ“. Въ немъ изображены два различные, даже противоположные типа или міровоззрѣнія въ средѣ молодого поколѣнія: одинъ типъ — спеціально „нигилистическій“, состоящій изъ всякаго рода мальчишескихъ отрицаній, будто бы „политическаго“ бреда, типъ, къ которому авторъ ощущаетъ и старается внушить величайшее презрѣніе; другой типъ въ средѣ того же молодого поколѣнія отличается, напротивъ, великимъ благоразуміемъ и даже старческою мудростью. Это нѣкто Русановъ, видимо олицетворяющій идеалы автора и заключающій въ себѣ, по его мнѣнію, полное разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ, какіе могли возникать въ нашемъ общественномъ положеніи. Типъ Русанова представлялъ собой цѣлую

[1]) „Современникъ“, № 3.

точку зрѣнія, которая рекомендовалась обществу, и Салтыковъ, оставляя въ сторонѣ обличительную сторону романа, рядъ лицъ, долженствовавшихъ изобразить превратныя идеи и испорченность молодого поколѣнія, остановился въ особенности на этомъ Русановѣ.

„Герой этого романа, Русановъ, человѣкъ еще молодой, едва начинающій свое жизненное поприще, но уже спокойно расположившійся въ лагерѣ мысли, безопасно торжествующей и неотразимо нападающей [1]). Какимъ образомъ онъ пришелъ къ этому безмятежію, авторъ не объясняетъ и заставляетъ читателя предполагать, что человѣкъ этотъ такъ и родился ужъ мудрецомъ. Тѣ вопросы, въ постановкѣ которыхъ сгораютъ цѣлыя поколѣнія, въ его глазахъ совсѣмъ не составляютъ вопросовъ, а просто представляютъ собой явленія горячечнаго бреда, о чемъ—трудно объяснимаго, а по результатамъ своимъ даже и опаснаго. Даже не на томъ совсѣмъ настаиваетъ этотъ юный герой, что нельзя съ презрѣніемъ обходить дѣйствительность, что необходимо считаться съ нею даже въ томъ случаѣ, если она положительно тѣснитъ и гнететъ — на этомъ-то пунктѣ, пожалуй, можно было бы и поговорить съ нимъ,—но на томъ, что никто не имѣетъ даже права возмущаться дѣйствительностью уже по тому одному, что она дѣйствительность, и что ничья мысль не должна выходить за предѣлы той сферы, которая почему-то и кѣмъ-то признана

[1]) Эта „безопасно торжествующая“ и „неотразимо нападающая“ мысль означаетъ то реакціонное направленіе, которое свило тогда гнѣздо въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, въ „Нашемъ Времени“ и частью въ другихъ изданіяхъ, и въ тогдашнемъ реакціонномъ направленіи самой власти „безопасно“ предавалось всякимъ инсинуаціямъ противъ потерявшаго право существованія либерализма.

для нея достаточною. Такое воззрѣніе на жизнь очень замѣчательно, въ особенности, если обладатель его, Русановъ, самъ принадлежитъ къ молодому поколѣнію, ибо молодость, при обыкновенныхъ условіяхъ, скорѣе наклонна къ преувеличеніямъ, а здѣсь она является наклонною къ сокращеніямъ. Стало быть, здѣсь что-нибудь одно изъ двухъ: либо преждевременная зрѣлость, либо фаталистическая ограниченность".

Салтыковъ говоритъ, что если вникнуть въ дѣло, то это скорѣе ограниченность. Герой Клюшникова не заявляетъ себя врагомъ прогресса, но, повидимому, не понимаетъ значенія этого слова.

„Умственному его оку представляются два прогресса: одинъ какой-то шутовской и пошловатый, другой разумный; противъ перваго онъ вооружается, второму сочувствуетъ. Первый представляется ему въ видѣ или гимназическихъ и кадетскихъ протестовъ (въ сущности, очень невинныхъ, существовавшихъ всегда съ тѣхъ поръ, какъ существуютъ гимназіи и корпуса, и подлежащихъ обличенію развѣ со стороны одного училищнаго начальства), или же въ видѣ темной интриги, всецѣло зиждущейся на тѣхъ же самыхъ основаніяхъ, которыми проникнута и столь любезная ему дѣйствительность. Еслибы Русановъ тѣснѣе спеціализировалъ предметы своихъ антипатій, еслибы онъ сказалъ прямо: мнѣ кажутся ничтожными гимназическіе протесты и недозволительными тѣ поползновенія, которымъ даетъ мѣсто слишкомъ возбужденное чувство національности, тогда, по крайней мѣрѣ, видно было бы, о чемъ онъ говоритъ; но онъ болѣе заставляетъ догадываться и подозрѣвать, нежели объясняетъ, и потому въ умѣ читателя невольно возникаетъ сомнѣніе,

что тутъ идетъ рѣчь совсѣмъ не о школьныхъ продѣлкахъ и не объ интригахъ, а о чемъ-то другомъ. Въ чемъ заключается это „другое“, Русановъ не даетъ положительнаго отвѣта, потому что и самъ не знаетъ того явленія, которое возбуждаетъ въ немъ враждебное чувство. Очевидно, онъ имѣетъ въ виду тѣ самыя бранныя слова, о которыхъ говорено выше, но выбираетъ гимназическія продѣлки и интриги потому единственно, что онѣ болѣе доступны его пониманію, потому что онѣ представляютъ болѣе поводовъ для увеселенія и потому, наконецъ, что поражать на другой почвѣ было бы не совсѣмъ для него удобно. Отсюда непрерывная путаница; едва начнетъ читатель утѣшаться вмѣстѣ съ авторомъ описаніями невинныхъ затѣй взбудораженной гимназической мысли, какъ Русановъ уже спѣшитъ изгладить веселое впечатлѣніе непріятными намеками на то, что эти затѣи совсѣмъ не такъ невинны, какъ кажутся, но что онѣ суть порожденіе того вреднаго вліянія, которое проникаетъ извнѣ, вслѣдствіе распространенія въ обществѣ нѣкоторыхъ темныхъ силъ, о которыхъ ему, Русанову, достовѣрно извѣстно. И такъ какъ Русановъ ничего, кромѣ намековъ, все-таки не даетъ (ибо, по ограниченности своей, и дать-то ничего другого не можетъ), то простодушный читатель такъ и остается при наивномъ убѣжденіи, что въ гимназическихъ протестахъ заключается весь смыслъ русскаго прогресса“.

Дальше Салтыковъ опредѣляетъ понятіе Русанова о прогрессѣ изъ его собственныхъ рѣчей и дѣйствій.

„Онъ что-то любитъ, о чемъ-то волнуется, къ чему-то стремится, но все это дѣлаетъ до такой степени *разумно, основательно и аккуратно*, что читателю кажется, что

онъ вовсе ничего не любитъ, вовсе ни о чемъ не волнуется и вовсе ни къ чему не стремится. Это убѣжденіе еще больше укрѣпляется тѣмъ обстоятельствомъ, что къ чему бы ни прикоснулся нашъ юный скопецъ, за что бы онъ ни принялся, вездѣ онъ проваливается самымъ постыднымъ образомъ. Чтобы показать, какъ слѣдуетъ дѣйствовать истинному гражданину, онъ поступаетъ на службу въ гражданскую палату (причемъ довольствуется весьма скромною должностью) и проваливается; чтобы показать, какъ слѣдуетъ имѣть общеніе съ народомъ, онъ идетъ уговаривать взбудораженныхъ крестьянъ—и проваливается. И хотя неудачи свои онъ объясняетъ темною интригой, которая, словно чудомъ какимъ, охватила цѣлый здоровый край, однако это натяжка, очевидная для всякаго сколько-нибудь смышленаго читателя. Отчего же ваша *правда*, г. Русановъ, такъ слабо дѣйствуетъ, а эта *ложь*, противъ которой вы ратуете, представляется вамъ всесильною? Вотъ вопросъ, который невольно возникаетъ въ умѣ всякаго, слушающаго вашу умѣренно-либеральную размазню, и на который вы, конечно, не отвѣтите. А дѣло, между тѣмъ, очень просто; причина вашего неуспѣха заключается совсѣмъ не въ общемъ затмѣніи здраваго смысла и не въ всесильномъ владычествѣ лжи, а въ томъ, что вы, говоря по правдѣ, ничего никогда не любили, ничего никогда не желали, и выдаете за правду ту теорію каплуньяго самодовольства, которая можетъ удовлетворять только людей положительно нищихъ духомъ".

Изъ своихъ изученій Русанова и его понятій о прогрессѣ Салтыковъ выводитъ заключеніе, что авторъ романа неправильно понялъ это лицо. „Вообще этотъ типъ,—говоритъ онъ,—очень замѣчательный по той внутренней

комической струѣ, которая изобильно течетъ въ немъ, и тѣмъ больше досадно, что талантливый авторъ не только не воспользовался этою струею, но даже относится къ своему герою очень серьезно".

Вѣроятно, къ этому самому произведенію относится замѣтка Салтыкова въ предшествующей общественной хроникѣ. Салтыковъ выражаетъ огорченіе по поводу господства въ нашей литературѣ соглядатайскаго элемента.

„На дняхъ, напримѣръ, я прочиталъ въ одномъ журналѣ повѣсть начинающаго писателя, и не знаю почему, но мнѣ показалось, что я провелъ нѣсколько часовъ въ обществѣ милаго, образованнаго и талантливаго квартальнаго надзирателя. Это меня огорчило. Не потому огорчило, чтобы я находилъ сравненіе съ квартальнымъ надзирателемъ невыгоднымъ для русскаго литератора, но потому собственно, что я (говоря слогомъ „Московскихъ Вѣдомостей") осмѣливался думать, что оба эти должностныя лица могутъ приносить пользу каждый на своемъ мѣстѣ.

„Помнится, нѣкогда („Современникъ" 1863, № 1—2, „Петербургскіе театры") я находилъ живую органическую связь между цѣлями, которыя преслѣдуетъ искусство, и тѣми, которымъ служитъ полиція. „Цѣль искусства—красота, цѣль полиціи — порядокъ; но что̀ такое красота? что̀ такое порядокъ? Красота есть гармонія, есть порядокъ, разсматриваемый въ сферѣ общей, такъ сказать, идеальной; порядокъ, въ свою очередь, есть красота... красота, такъ сказать, государственная". Вотъ что̀ говорилъ я годъ тому назадъ, и такъ какъ не отрицаюсь отъ этого взгляда и до днесь, то весьма натурально, что не могу порицать его и въ начинающихъ моихъ собратьяхъ

по ремеслу. Тѣмъ не менѣе, не знаю почему, но я совсѣмъ не былъ бы огорченъ, еслибъ въ примѣненіи этого взгляда, въ проведеніи его въ литературу, замѣшалась нѣкоторая непослѣдовательность. Мнѣ кажется, что это даже нисколько бы не отняло цѣны у дебюта молодого писателя".

Салтыковъ находитъ, что лучше было бы, еслибы у автора проявился какой-нибудь недостатокъ, какая-нибудь „юная запальчивость", которая имѣетъ въ юности неотразимую прелесть, неумѣніе овладѣть формой: читатели оцѣнили бы этотъ молодой задоръ и, вѣроятно, не ошиблись бы въ своей снисходительности. Но я положительно не знаю болѣе горькаго горя, какъ то, когда начинающій писатель съ перваго же разу является совсѣмъ мастеромъ своего дѣла. Такому писателю я ничего не могу предвѣщать въ будущемъ, ибо ему уже некуда развиваться, ибо онъ завялъ и сморщился при самомъ своемъ рожденіи". И онъ прибавляетъ дальше: „Читатель! это правда, что я говорю съ тобой обиняками, но надѣюсь, что ты поймешь то чувство, которое заставляетъ меня не называть никого".

Рѣчь шла, повидимому, о „Маревѣ". Предсказаніе Салтыкова осуществилось. Авторъ этого романа въ своихъ позднѣйшихъ произведеніяхъ не выбился изъ самой ординарной посредственности.

Не болѣе высокаго мнѣнія былъ Салтыковъ о патентованномъ писателѣ, который въ тѣ же годы возъимѣлъ несчастную мысль явиться обличителемъ новыхъ стремленій молодого поколѣнія. Выше мы упоминали мимоходный отзывъ Салтыкова о „Взбаламученномъ морѣ" Писемскаго, какъ объ удручающемъ произведеніи, которое

свойствами своего живописанія способно довести читателя до полной безчувственности, напр., даже къ запаху гутуевскихъ боенъ. Болѣе подробную оцѣнку литературныхъ свойствъ Писемскаго Салтыковъ далъ въ разборѣ извѣстной драмы этого писателя, „Горькая Судьбина“, о которой нѣкогда не мало говорили, но которая оставила въ Салтыковѣ самое неблагопріятное впечатлѣніе, какъ впрочемъ почти вся литературная дѣятельность Писемскаго. Салтыковъ относится къ этому писателю, который славился какъ одинъ изъ наиболѣе видныхъ нашихъ „реалистовъ“, съ нескрываемой антипатіей. И въ самомъ дѣлѣ, Писемскій, при несомнѣнномъ талантѣ, отличался такою грубоватостью формы, такимъ первобытнымъ міросозерцаніемъ, которыя дѣлали его совершенно неспособнымъ понять ни сложныхъ явленій общественной жизни, которую онъ брался, однако, изображать, ни психологическаго міра своихъ героевъ. На этотъ разъ Салтыковъ остановился на произведеніи, представлявшемъ картину изъ народнаго быта, гдѣ Писемскій также считался знатокомъ; но по поводу „Горькой Судьбины“ онъ даетъ и вообще характеристику таланта Писемскаго. Пьеса представляла эпизодъ изъ временъ крѣпостного права и нѣсколько лѣтъ не могла быть дана на сценѣ, повидимому, изъ какихъ-то опасеній, что она произведетъ слишкомъ возбуждающее дѣйствіе. Салтыковъ упоминаетъ объ этомъ обстоятельствѣ въ слѣдующихъ словахъ:

„Нѣсколько лѣтъ эту драму не давали на театрѣ— вѣроятно, все собирались съ духомъ, какъ бы не слишкомъ ошеломить публику, но наконецъ-таки рѣшились. Оказалось, что публика осталась къ пьесѣ, поставленной на сценѣ, точно такъ же равнодушною, какъ и къ пьесѣ,

нѣкогда погребенной на страницахъ „Библіотеки для чтенія“; оказалось, что въ ней нѣтъ ни гремучаго серебра, ни другихъ разрывающихъ составовъ, которые въ ней предполагались. Пьеса прошла тихо, не возбудивъ ничего, кромѣ недоумѣнія и тѣхъ же самыхъ вопросовъ, которые слышались при первоначальномъ появленіи ея въ печати“.

Салтыковъ слѣдующимъ образомъ характеризуетъ Писемскаго, какъ со стороны его художественнаго исполненія, такъ и со стороны его міровоззрѣнія:

„Никто изъ самыхъ рьяныхъ поклонниковъ Писемскаго, конечно, не возьметъ на себя доказывать, что талантъ этого писателя симпатиченъ. Въ немъ прежде всего поражаетъ необыкновенная ограниченность взгляда, крайняя неспособность мысли къ обобщеніямъ и замѣчательная неразвитость. Повидимому, все, что̀ выходитъ изъ ряда самой простой, обыденной жизни: умыванья, одѣванья, питья, ѣды и половыхъ влеченій, совершенно недоступно ему и возбуждаетъ въ немъ насмѣшку и недовѣріе. Отношенія автора къ создаваемымъ имъ образамъ и разсказываемымъ происшествіямъ имѣютъ характеръ темный и, такъ сказать, плотяный. Онъ удачно ловитъ внѣшніе признаки и лѣпитъ изъ нихъ фигуры, по бо̀льшей части довольно выпуклыя, но глаза у этихъ фигуръ всегда оловянные, а той тонкой струи жизни, которая именно и заставляетъ выхваченный изъ дѣйствительности образъ двигаться, радоваться, страдать и трепетать, здѣсь нѣтъ и въ поминѣ. Можно сказать, что г. Писемскій относительно героевъ своихъ постоянно исправляетъ роль гробовщика; подобно статуѣ командора въ „Донъ-Жуанѣ“,

эти лица проходятъ мимо глазъ читателя и стучатъ своими каменными ступнями.

„Даже въ нашей, насквозь проникнутой реализмомъ, литературѣ г. Писемскій представляетъ явленіе крайнее и исключительное: онъ и въ ней стоитъ особнякомъ, несмотря на то, что, съ точки зрѣнія внѣшнихъ признаковъ, вполнѣ принадлежитъ ей. Всякій, самый неважный писатель реальной школы, принимаясь за свое дѣло, знаетъ, что онъ хочетъ сказать; въ самомъ ничтожномъ разсказцѣ этой категоріи читатель чувствуетъ отношеніе автора къ факту, видитъ мысль, видитъ свѣтъ. Г. Писемскій положительно не знаетъ, что онъ хочетъ сказать и въ какія отношенія можетъ стать къ предмету; онъ выкладываетъ передъ читателемъ груды человѣческихъ тѣлъ и говоритъ: вотъ тѣла, которыя можно было бы назвать мертвыми, еслибъ въ нихъ не проявлялось нѣкоторыхъ низшаго сорта движеній, свойственныхъ, между прочимъ, и человѣческимъ организмамъ. Отсутствіе идеала выходитъ полное, міросозерцанія никакого и въ результатѣ—страшная духота. Читатель страдаетъ, но совсѣмъ не отъ того, что авторъ выводитъ его изъ состоянія безсознательнаго очарованія и заставляетъ дѣлать посылки отъ дѣйствительности художественной къ дѣйствительности настоящей, а просто отъ того, что его вынуждаютъ нѣсколько времени оставаться въ злокачественной, зараженной тлѣніемъ атмосферѣ. Ясно, что талантъ, обладающій такими грубыми свойствами, можетъ заявить свою силу только въ созданіи извѣстнаго рода диковинъ, и что интересъ, возбуждаемый этими диковинами, совершенно удовлетворительно объясняется простымъ чувствомъ любопытства“ [1]).

[1]) Напомнимъ при этомъ характеристику Писемскаго, сдѣланную вно-

По этому поводу Салтыковъ объясняетъ съ свойственными ему сильными оборотами, что̀ значитъ это отсутствіе идеаловъ, равняющееся отсутствію общественнаго взгляда.

„Жить въ тюрьмѣ еще не значитъ понимать весь ужасъ этого положенія; быть поставленнымъ въ необходимость копаться въ навозѣ и нечистотахъ еще не значитъ сознавать, что эти нечистоты суть дѣйствительно нечистоты, и что роль изыскателя въ настоящемъ случаѣ есть роль ненормальная и даже въ высшей степени противная. Общественное значеніе писателя (а какое же и можетъ быть у него иное значеніе?) въ томъ именно и заключается, чтобы пролить лучъ свѣта на всякаго рода нравственныя и умственныя неурядицы, чтобы освѣжить всякаго рода духоты вѣяньемъ идеала. Какимъ путемъ эта цѣль можетъ быть достигнута—это зависитъ отъ интимныхъ свойствъ каждаго отдѣльнаго таланта, но дѣло въ томъ, что писатель, котораго сердце не переболѣло всѣми болями того общества, въ которомъ онъ дѣйствуетъ, едва ли можетъ претендовать въ литературѣ на значеніе выше посредственнаго и очень скоропреходящаго“.

Салтыковъ предупреждаетъ читателя, что̀ онъ вовсе не требуетъ (какъ обыкновенно думаютъ) изображенія „идеальныхъ людей“, снабженныхъ всякими добродѣтелями; онъ требуетъ только присутствія идеала въ міровоззрѣніи писателя, и этотъ идеалъ можетъ сказаться даже въ изображеніяхъ, наполненныхъ только отрицательными типами. Таковъ „Ревизоръ“ Гоголя. „Никто

слѣдствіи г. Венгеровымъ, спеціально изучавшимъ этого писателя. Его впечатлѣнія и выводы нерѣдко очень совпадаютъ съ заключеніями Салтыкова.

не станетъ отрицать присутствія идеала въ этой комедіи. Зритель выходитъ изъ театра совсѣмъ не въ томъ спокойномъ состояніи, въ какомъ онъ туда пришелъ; мыслящая сила его возбуждена; обокъ съ запечатлѣвшимися въ его умѣ живыми образами возникаетъ цѣлый рядъ вопросовъ, которые, въ свою очередь, служатъ исходнымъ пунктомъ для умственной работы совершенно особой и самостоятельной. Зритель становится чище и нравственнѣе совсѣмъ не потому, чтобы онъ вотъ-вотъ сейчасъ пошелъ да и сталъ благодѣтельствовать или раздавать свое имѣніе нищимъ, а просто потому, что сознательное отношеніе къ дѣйствительности уже само по себѣ представляетъ высшую нравственность и высшую чистоту. Тутъ дѣло совсѣмъ не въ томъ, чтобы прописать человѣку какой-нибудь буколическій рецептъ, въ родѣ тѣхъ, которые прописываются въ каллиграфическихъ прописяхъ и тѣхъ противныхъ дѣтскихъ книжонкахъ, которыми московское общество распространенія безполезныхъ книгъ отравляетъ нашихъ дѣтей, а въ томъ, чтобы напомнить человѣку, что онъ человѣкъ. Все это очень вѣрно, хотя нѣсколько вычурно, изображено самимъ Гоголемъ въ его „Разъѣздѣ“, который мы не можемъ достаточно рекомендовать писателямъ, упражняющимся, подобно г. Писемскому, на поприщѣ русской беллетристики“.

Нельзя не видѣть, что въ этомъ теоретическомъ изложеніи высказывается собственная природа Салтыкова, какъ писателя. Его произведенія потому и производили впечатлѣніе, и самъ онъ, кромѣ своего таланта, пріобрѣталъ первостепенное значеніе въ литературѣ, что его сердце переболѣло всѣми болями общества, въ которомъ онъ дѣйствовалъ; во всѣхъ его произведеніяхъ не най-

дется ни одного такъ-называемаго „идеальнаго лица“, но идеалъ присутствовалъ въ нихъ неизмѣнно, какъ тотъ высшій мотивъ, который возбуждалъ его творчество и который ощущался всѣми его читателями, способными чувствовать идеалъ. Его произведенія создаютъ то самое впечатлѣніе, какимъ онъ изображаетъ впечатлѣніе „Ревизора“.

Далѣе, по адресу писателей въ родѣ Писемскаго, Салтыковъ прибавляетъ другое наставленіе, въ сущности элементарное, но напомнить о которомъ было не излишне. Салтыковъ указываетъ, что одна изъ главныхъ обязанностей художника состоитъ въ устройствѣ внутренняго міра его героевъ.

„Человѣкъ есть организмъ сложный, а потому и внутренній его міръ до крайности разнообразенъ; слѣдовательно, тотъ писатель, который населитъ этотъ міръ признаками совершенно однообразными, который исчерпаетъ его одной или немногими нотами,—тотъ писатель, говоримъ мы, быть можетъ, нарисуетъ картину очень рѣзкую и даже въ извѣстномъ смыслѣ рельефную, но вмѣстѣ съ тѣмъ невѣрную и безобразную. Нѣтъ того человѣка на свѣтѣ, который былъ бы сплошь злодѣемъ или сплошь добродѣтельнымъ, сплошь трусомъ или сплошь храбрецомъ, и т. д. У самаго плохого индивидуума имѣются свои проблески сознанія, свои возвраты, свои, быть можетъ, неясныя, но тѣмъ не менѣе отнюдь не выдуманныя порыванія къ чему-то такому, что̀ зовется справедливостью и добромъ. Эта-то нравственная невыдержанность и составляетъ ту общечеловѣческую основу, на которой художественное чувство, съ одной стороны, мирится съ безобразіемъ извѣстныхъ жизненныхъ типовъ, а

съ другой стороны—не допускаетъ себя расплываться въ морѣ безразличія и отвлеченностей. Если художникъ не проникнется этимъ условіемъ всецѣло, если онъ будетъ видѣть въ людяхъ носителей ярлыковъ или представителей извѣстныхъ формъ, то результатомъ его работы будутъ не живые люди, а тѣни, или, по меньшей мѣрѣ, мертвыя тѣла".

Писемскій только въ первыхъ своихъ произведеніяхъ соблюдалъ иногда эти требованія, но въ позднѣйшихъ оно соблюдается до крайности мало.

Дальше очень любопытны замѣчанія Салтыкова объ отношеніи къ народу писателей „изъ народнаго быта". Опять Писемскій даетъ ему поводъ къ общимъ соображеніямъ. Салтыковъ находитъ, что для русскихъ писателей народъ или, лучше сказать, та его часть, которая называется простонародьемъ, составляетъ, такъ сказать, неизвѣстную землю.

„Во-первыхъ,—говоритъ онъ,—эта среда до сихъ поръ сама по себѣ была до крайности замкнута, а во-вторыхъ, большинство писателей нашихъ принадлежитъ къ такимъ общественнымъ сферамъ, которыя не имѣютъ съ народомъ ничего общаго, и потому весьма естественно, что въ ихъ отношенія къ послѣднему невольнымъ образомъ вносятся всѣ недоумѣнія и предубѣжденія, которыя такъ свойственны кастамъ. Слѣдовательно, здѣсь представляется обширное поле для всякаго рода предположеній, и писатель, поставившій себѣ задачею художественное возстановленіе народнаго образа, имѣетъ возможность болѣе, нежели во всякомъ другомъ случаѣ, руководствоваться угадываньемъ или даже и произволомъ, не опасаясь быть уличеннымъ въ лжесвидѣтельствѣ. А если мы,

сверхъ того, не забудемъ принять въ соображеніе, что массы показываютъ себя только издали и при томъ исключительно со стороны внѣшнихъ признаковъ, которые, вслѣдствіе самыхъ условій обстановки, не могутъ быть особенно привлекательны, то поймемъ безъ труда, что здѣсь свобода писателя почти всегда сопряжена съ ущербомъ для истины, и при томъ далеко не въ пользу изслѣдуемому предмету. Тѣмъ не менѣе, и за этою свободой кроется извѣстнаго рода узда, которая не допускаетъ писателя дѣлать слишкомъ широкіе размахи пера и удерживаетъ его отъ *искушеній*, *граничащихъ съ клеветой*. Узду эту составляетъ, во-первыхъ, чувство приличія и, во-вторыхъ, извѣстнаго рода сообразительность, которая и въ неизвѣстномъ дозволяетъ открывать черты, не противныя законамъ вѣроятности. *Чувство приличія*, заставляющее писателя быть осторожнымъ относительно сферъ ему неизвѣстныхъ, слишкомъ понятно, чтобы нужно было много распространяться о немъ; что же касается до сообразительности, то это—то самое свойство ума человѣческаго, которое дозволяетъ человѣку, съ помощью наведенія, сравненія, анализа и отвлеченія, приближаться къ истинѣ даже тамъ, гдѣ послѣдняя является неясною. Такъ, напримѣръ, въ разсматриваемомъ нами случаѣ, сообразительность должна указать, что хотя простонародье и составляетъ массу темную, но что массу эту составляютъ индивидуумы совсѣмъ не низшей и даже не иной породы, нежели та, къ которой мы принадлежимъ сами, что самая многочисленность этихъ индивидуумовъ заставляетъ предполагать въ массѣ большое разнообразіе цвѣтовъ и тѣней, и что, слѣдовательно, ни въ какомъ случаѣ недозволительно предполагать ее сплошь грубою,

нелѣпою или пьяною. Все, на что̀ мы можемъ указать въ массахъ достаточно утвердительно, — это на ихъ замкнутость и неразвитость; но эти существенные недостатки не мѣшаютъ, однакожъ, имъ жить своею оригинальною и притомъ очень разнообразною и совершенно человѣческою жизнью. Вотъ къ какимъ результатамъ и предположеніямъ должна привести насъ сообразительность, и если мы при этомъ припомнимъ, что наша собственная жизнь есть не что̀ иное (да и не можетъ быть ничѣмъ инымъ), какъ продуктъ той же жизни массъ, то необходимость относиться къ этой послѣдней со *всевозможною осмотрительностью* и полнымъ вниманіемъ сдѣлается для насъ еще болѣе ясною и настоятельною".

Таковъ былъ простой и здравый взглядъ Салтыкова на отношеніе къ народу, обязательное для тѣхъ, кто брался за изображеніе его быта. Этотъ эпизодъ еще разъ устраняетъ тѣ недоразумѣнія, какія не однажды высказывались по поводу отношеній къ народу у самого Салтыкова. Смѣшивали двѣ вещи: отрицательное отношеніе Салтыкова къ извѣстнымъ свойствамъ цѣлаго нашего быта и непосредственное отношеніе его къ народной средѣ. Въ первомъ случаѣ шла рѣчь о понятіяхъ, о неудовлетворительномъ складѣ нашей общественности въ широкомъ смыслѣ; во второмъ—именно и прямо о народномъ бытѣ. Салтыковъ не питалъ сочувствія къ извѣстнымъ отрицательнымъ сторонамъ нашего общественнаго характера, одинаково и въ той массѣ, которая собственно называется народомъ, и въ той части его, которая называется обществомъ; но тамъ, гдѣ шла рѣчь именно о низшемъ классѣ и отношеніяхъ къ нему высшаго класса общества, литературы, гдѣ бросались на народъ взгляды

высокомѣрнаго снисхожденія, говорилось о немъ какъ о грубой массѣ, заводились рѣчи о „сближеніи сословій“, вынуждаемыя инстинктивно чувствуемой мыслью объ измѣнившихся экономическихъ и соціальныхъ условіяхъ, у Салтыкова всегда находилось слово защиты: онъ указывалъ страшную тягость той народной жизни, о которой говорилось обыкновенно такъ слегка, съ уваженіемъ указывалъ то „мужество“, съ какимъ переносится крестьянскій трудъ, съ негодованіемъ говорилъ о томъ лицемѣріи, которое искало мнимаго „сближенія“, искало только потому, что прежняя форма эксплуатаціи исчезла безвозвратно; наконецъ, требовалъ „приличія“, о которомъ дѣйствительно литература слишкомъ часто забывала.

Это забвеніе приличія онъ указываетъ въ особенности у Писемскаго.

„Чувство приличія,—говоритъ онъ о Писемскомъ,—является до такой степени попраннымъ, что можно даже подумать, что авторъ лично чѣмъ-то огорченъ. Мужикъ-грубіянъ, бахвалъ, дуракъ и пьяница, однимъ словомъ, мужикъ,—вотъ единственное представленіе, которое оставляютъ въ умѣ читателя его такъ-называемые народные типы. Выйти изъ этого порочнаго круга не помогаетъ ему даже та сообразительность, о которой говорено выше, ибо г. Писемскій, какъ кажется, возмнилъ себя писателемъ политическимъ, а политика, какъ извѣстно, способствуетъ развитію только страстей и огорченій, но отнюдь не сообразительности. Стоитъ только припомнить описаніе крестьянскихъ волненій въ послѣднемъ романѣ этого автора, чтобы понять, до какихъ пагубныхъ послѣдствій можетъ довести недостатокъ проницательности и привычка останавливаться на однихъ внѣшнихъ при-

знакахъ. Изъ этого выходитъ такая ребяческая и смѣшная безурядица, что читатель рѣшительно могъ бы усомниться въ существованіи здраваго смысла на свѣтѣ, еслибы не спасало его въ этомъ случаѣ то обстоятельство, что вся смѣшная и ребяческая сторона этого дѣла падаетъ исключительно на голову самого автора, а отнюдь не на изображаемый имъ предметъ"...

Свой взглядъ на Писемскаго Салтыковъ подтверждаетъ подробнымъ разборомъ его драмы: „Горькая Судьбина"; на немъ мы не будемъ останавливаться, и укажемъ въ заключеніе еще любопытныя сужденія Салтыкова о томъ направленіи, которое считается характернѣйшею особенностью нашей новой литературы и которому принадлежатъ его собственныя произведенія. Это—такъ-называемый реализмъ. Салтыковъ вообще былъ невысокаго понятія о русской литературѣ въ ея массѣ и, между прочимъ, видѣлъ глубокіе недостатки въ этомъ самомъ направленіи; онъ считаетъ нужнымъ объяснять, въ чемъ заключается настоящій реализмъ и что онъ не только не исключаетъ, но требуетъ идеалистической нравственной основы. Слѣдующія слова имѣютъ опять большой интересъ для опредѣленія его теоретическихъ понятій о литературѣ и указываютъ также внутреннюю основу его собственнаго труда.

„Что реализмъ есть дѣйствительно господствующее направленіе въ нашей литературѣ—это совершенно справедливо. Она, эта бѣдная русская литература, столько времени питалась разными чуждыми, фальшивыми, отчасти даже и нечистыми соками, что время отрезвленія настало, наконецъ, и для нея. Дѣйствуя подъ вліяніемъ какого-то одуряющаго чада, живя чужими страданіями, болѣя на-

пускными болями, литература не могла не ужаснуться своей собственной пустоты и, убѣдившись въ ней, весьма естественно пожелала освѣжиться. Попытки въ этомъ смыслѣ дѣлались постоянно отъ времени до времени, но рѣшительнымъ образомъ освѣженіе это начато Гоголемъ и съ тѣхъ поръ продолжается непрерывно. Гоголь положительно долженъ быть признанъ родоначальникомъ этого новаго, реальнаго направленія русской литературы; къ нему волею-неволею примыкаютъ всѣ позднѣйшіе писатели, какой бы оттѣнокъ ни представляли собой ихъ произведенія. Но дѣло въ томъ, что мы иногда ошибочно понимаемъ тотъ смыслъ, который заключается въ словѣ „реализмъ“, и охотно соединяемъ съ нимъ понятіе о чемъ-то въ родѣ грубаго, механическаго списыванья съ натуры, подобно тому, какъ многіе съ понятіемъ о матеріализмѣ соединяютъ понятіе о всякаго рода физической сытости“.

„Это, однакожъ, не такъ. Мы замѣчаемъ, что произведенія реальной школы намъ нравятся, возбуждаютъ въ насъ участіе, трогаютъ насъ и потрясаютъ, и это одно уже служитъ достаточнымъ доказательствомъ, что въ нихъ есть нѣчто бо̀льшее, нежели простое умѣнье копировать. И дѣйствительно, умъ человѣческій съ трудомъ удовлетворяется одною голою передачей внѣшнихъ признаковъ; онъ останавливается на этихъ признакахъ только случайно, и притомъ лишь на самое короткое время. Вездѣ, даже въ самой ничтожной подробности, онъ допытывается того интимнаго смысла, той внутренней жизни, которые одни только и могутъ дать факту дѣйствительное значеніе и силу. Очевидно, что еслибъ реализмъ не отвѣчалъ этой потребности, то онъ ни подъ

какимъ видомъ не могъ бы войти въ искусство, какъ основной и преобладающій его элементъ.

„И въ самомъ дѣлѣ, истинный реализмъ не только не потворствуетъ исключительности и односторонности, но даже положительно враждебенъ имъ. Такимъ образомъ, имѣя въ виду человѣка и дѣла его, онъ беретъ его со всѣми его опредѣленіями, ибо всѣ эти опредѣленія—равно *реальныя*, т.-е. равно законны и равно необходимы для объясненія человѣческой личности. Обращаться съ ними грубо, выставлять на показъ только тѣ изъ нихъ, которыя сами по себѣ выдаются наиболѣе рѣзко, онъ не имѣетъ права, подъ опасеніемъ оказаться совершенно несостоятельнымъ передъ тѣмъ дѣломъ, которое собственно и составляетъ его задачу. Точно такимъ же образомъ, приступая къ воспроизведенію какого-либо факта, реализмъ не имѣетъ права ни обойти молчаніемъ его прошлое, ни отказаться отъ изслѣдованія (быть можетъ, и гадательнаго, но тѣмъ не менѣе вполнѣ естественнаго и необходимаго) будущихъ судебъ его, ибо это прошедшее и будущее хотя и закрыты для невооруженнаго глаза, но тѣмъ не менѣе совершенно настолько же *реальны*, какъ и настоящее. Конечно, очерчивая такимъ образомъ значеніе реализма въ искусствѣ, мы очень хорошо понимаемъ, что рисуемъ идеалъ очень трудно достижимый, но дѣло не въ томъ, въ какой степени легко или трудно достается та или другая задача искусства, а въ томъ, чтобы отыскать мѣрило, которое дало бы намъ возможность съ бо́льшею или меньшею безошибочностью обращаться съ произведеніями человѣческой мысли и отдавать себѣ отчетъ въ томъ впечатлѣніи, какое онѣ на насъ производятъ“.

Въ приведенныхъ цитатахъ достаточно ясно отношеніе Салтыкова къ главнымъ спорнымъ вопросамъ тогдашней литературы. Дальше мы встрѣтимся еще съ его мнѣніями объ этомъ предметѣ и съ полемическими нападеніями на извѣстныя направленія, какъ, напримѣръ, славянофильство, которыя онъ считалъ хотя болѣе или менѣе искренними, но косвенно вредными, потому что онѣ спутывали общественное мнѣніе, не ставя вопросовъ прямо и затемняя ихъ реторическимъ или мистическимъ туманомъ.

Мы остановимся еще на нѣсколькихъ статьяхъ, вызванныхъ болѣе или менѣе случайными произведеніями и гдѣ опять высказывается оригинальнымъ образомъ та же основная мысль Салтыкова, то же строгое требованіе отъ литературы, чтобы она была не пустой забавой, а исполненіемъ серьезнаго общественнаго долга. Онъ самъ до такой степени проникнутъ этимъ чувствомъ обязанности, такъ близко принималъ къ сердцу свѣтлыя и темныя стороны (и послѣднихъ было гораздо больше) общественности, что не только оставался холоденъ къ безразличнымъ произведеніямъ художественнаго дилеттантства, но питалъ къ нимъ настоящую вражду.

Таковъ, напримѣръ, его отзывъ объ извѣстномъ романѣ гр. А. К. Толстого, „Князь Серебряный“.

Предисловіе, которымъ Салтыковъ снабдилъ свой разборъ „Князя Серебрянаго“, уже предупреждаетъ читателя объ отношеніи критика къ этому произведенію.

„Византійское это сочиненіе составляетъ, какъ по внѣшней своей формѣ, такъ и по внутреннему содержанію, явленіе столь отличное въ кругу современныхъ литературныхъ произведеній, что редакція не нашла, въ

числѣ постоянныхъ своихъ сотрудниковъ, ни одного, который взялся бы написать на него рецензію. Между тѣмъ, сочиненіе произвело въ публикѣ нѣкоторое впечатлѣніе, такъ что игнорированіе его могло бы быть сочтено за злонамѣренность. Поэтому, редакція вынуждена была обратиться за помощью къ одному отставному учителю, нѣкогда преподававшему россійскую словесность въ одномъ изъ кадетскихъ корпусовъ. Къ сожалѣнію, почтенный педагогъ, столь обязательно принявшій наше предложеніе, не могъ выполнить его до конца; ужасный параличъ преждевременно прекратилъ дни его въ самомъ началѣ труда. Тѣмъ не менѣе, мы печатаемъ его рецензію такъ, какъ она намъ доставлена, и думаемъ, что и въ этомъ видѣ она могла бы служить украшеніемъ любой книжки „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“ точно такъ же, какъ самъ „Князь Серебряный“ былъ бы весьма пріятнымъ явленіемъ въ Аонидахъ“.

Такимъ образомъ статья представляется написанною старымъ учителемъ реторики и по тому рецепту, какъ онъ обучался въ своей молодости. Салтыковъ съ большимъ мастерствомъ передалъ манеру писателей 20-хъ и 30-хъ годовъ.

„Я помолодѣлъ,—пишетъ учитель реторики:—читаю и не вѣрю глазамъ. Любезный графъ! волшебную вашу кисть вы окунули въ живую воду фантазіи и заставили меня, старика, присутствовать при „дѣлахъ давно минувшихъ дней“; исполать вамъ! Но еще больше вамъ исполать за то, что вы воскресили для меня мою юность, напомнили мнѣ появленіе „Юрія Милославскаго“, „Рославлева“, напомнили первыя попытки робкаго еще тогда

Лажечникова. Это было счастливое время, любезный графъ; это было время, когда писатели умѣли—

Истину царямъ съ улыбкой говорить...

—когда всякій, не скрывая своего сердца, заявлялъ о чувствахъ преданности (да и зачѣмъ это скрывать?)... Но, конечно, никто еще не высказывалъ такой истины, какую вы высказали Іоанну Грозному! Да, вы воскресили для меня доброе, старое время, которое я считалъ давно погибшимъ! Но довольно о себѣ.

„Внѣшнее построеніе романа графа А. К. Толстого вполнѣ соотвѣтствуетъ правиламъ, на предметъ составленія таковыхъ упражненій преподаннымъ. Въ немъ имѣется завязка (и даже, какъ увидимъ ниже, не одна, а нѣсколько завязокъ, что̀ дѣлаетъ интересъ романа почти нестерпимымъ), изъ которой дѣйствіе развивается, постепенно возвышаясь, покуда, наконецъ, не достигаетъ своего зенита; по достиженіи сего, дѣйствіе развивается уже понижаясь и незамѣтно утопаетъ въ развязкѣ. Многіе нынѣшніе писатели правилами сими пренебрегаютъ, думая, что завязка и развязка не составляютъ еще существеннаго условія литературнаго упражненія; но доказать неосновательность подобнаго воззрѣнія очень не трудно: стоитъ только вспомнить о томъ, что всякая вещь имѣетъ свое начало и свой конецъ. Нынѣшніе писатели думаютъ, что обязанность ихъ заключается лишь въ томъ, чтобы поставить героевъ своихъ въ критическое положеніе, и что, по исполненіи сего, можно ихъ бросить. „Сказавъ это, они вздохнули и разошлись“— вотъ фраза, которою модные современные повѣствователи позволяютъ себѣ заканчивать недозрѣлыя свои про-

изведенія. Но читатель любопытенъ; онъ хочетъ знать, куда разошлись герои, куда пошелъ *онъ*, куда направила путь *она*; что они дѣлали, что въ тотъ день обѣдали, сколько времени жили и какъ умерли. Все это графомъ Толстымъ исполнено. Исполнено имъ и другое требованіе теоріи, касающееся характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Въ семъ отношеніи теорія неумолима; она требуетъ, чтобы дѣйствующія лица имѣли характеры разнообразные, и даже указываетъ, какіе должны быть эти характеры. Впереди всѣхъ, разумѣется, идетъ герой; герой долженъ быть изъ хорошаго семейства, благороденъ, но твердъ, чувствителенъ, но не лишенъ разсудка, правдивъ, но не безъ надежды, что авторъ, въ сомнительномъ случаѣ, найдетъ возможность вытащить его изъ бѣды, великодушенъ до безразсудства, но знающъ, что великодушные поступки никогда не пропадаютъ даромъ; сверхъ сего, не худо, если герой—человѣкъ съ деньгами. Героинею можетъ быть всякая хорошая женщина, которой наружность представляетъ въ себѣ что-либо для мужчины привлекательное; нужно только, чтобы она была: или мужнею женою (это необходимо для завязки), или же хотя и дѣвицею, но не одинаковаго съ героемъ званія или состоянія (это также необходимо для той надобности). За симъ лица, окружающія героя и героиню, должны раздѣляться на друзей и враговъ“ и т. д.

Критикъ перечисляетъ различные сорта друзей и враговъ и другія принадлежности хорошаго романа, какіе писывалъ, напримѣръ, Загоскинъ, и находитъ всѣ требованія хорошо исполненными у гр. Толстого. Критикъ хвалитъ его слогъ (онъ можетъ быть названъ жемчужнымъ, style perlé), но дѣлаетъ такое замѣчаніе: „одно

лишь условіе не соблюдено любезнымъ сочинителемъ: обычай требовалъ, чтобы романъ былъ раздѣленъ на четыре части, а не на двѣ, какъ это сдѣлано въ настоящемъ случаѣ; но и этому читатель легко можетъ помочь, умственно раздѣливъ каждую часть на двѣ половины".

Относительно внутренняго содержанія романа, критикъ полагалъ, что основную идею его можно отыскать въ заключительныхъ словахъ 9-й главы, части 1-й.

„Молится царь и кладетъ земные поклоны. Смотрятъ на него звѣзды въ окно косящатое, смотрятъ свѣтлыя притуманившись,—притуманившись, будто думая: ахъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ! Ты затѣялъ дѣло не въ добрый часъ, ты затѣялъ, насъ не спрошаючи: не рости двумъ колосьямъ въ уровень, не сравнять крутыхъ горъ съ пригорками, не бывать на землѣ безбоярщины!"

По этому поводу критикъ замѣчаетъ:

„Надо сознаться, что въ государствѣ, въ коемъ еще недавно существовали такъ-называемыя „Редакціонныя Коммиссіи", высказать подобную мысль есть дѣло довольно смѣлое... Умолкаю, дабы не навлечь автору непріятности".

Разборъ самаго сочиненія критикъ предполагаетъ дѣлать „по главамъ", какъ дѣлывалось въ доброе старое время, и „какъ невозможно дѣлать нынѣче, ибо нынѣшнія литературныя упражненія нельзя понимать иначе, какъ прочитавши всѣ главы въ совокупности".

„Разборъ дѣйствительно начинается по главамъ, но нѣкоторыя разбираются „въ совокупности". Изъ этого разбора укажемъ только два отрывка. По поводу извѣстной перемѣны въ характерѣ царя Ивана Васильевича,

авторъ романа приводитъ старинную политическую теорію, что все это произошло по волѣ Божіей, карающей россіянъ для очищенія отъ грѣховъ, и рецензентъ разсуждаетъ:

„Если народъ погрязаетъ въ грѣхахъ и черезъ то оскорбляетъ промыслъ, то какой наилучшій способъ имѣетъ сей послѣдній, чтобы напомнить о себѣ и заставить народъ восчувствовать? Тяжело сознаться, но совершенно достовѣрно, что наилучшими въ семъ случаѣ орудіями всегда почитались вожди народные. Посредствомъ ихъ промыслъ еще древле наказывалъ Израиля, да и въ новѣйшее время, по свидѣтельству П. И. Мельникова, Розенгейма и другихъ опытныхъ обличителей, продолжаетъ слѣдовать той же системѣ. Такъ, напримѣръ, если градъ начнетъ утопать въ роскоши и богатствѣ, то промыслъ посылаетъ въ оный градоначальника, который въ скорости доказываетъ гражданамъ, что существенными интересами человѣческой жизни должны быть не столько земные интересы, сколько небесные. Что цѣлыя страны такимъ способомъ очищаются отъ грѣховъ, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, однакожъ нельзя не сознаться, что и въ этой теоріи имѣется своя слабая сторона. Она заключается въ томъ, что теорія сія съ преувеличенною, какъ мнѣ кажется, строгостью относится къ самымъ орудіямъ, посредствомъ коихъ производится очищеніе отъ грѣховъ. Положимъ, что народъ, погрязшій въ грѣхахъ, не мѣшаетъ по временамъ очищать, но чѣмъ же виноваты правители, кои, будучи сами по себѣ людьми невинными, именно для этой цѣли надѣляются самыми звѣрскими качествами и черезъ это по-

губляютъ свои души и впослѣдствіи наслѣдуютъ геенну огненную?“ и т. д.

Другое размышленіе породилъ въ рецензентѣ подробный разсказъ автора о царскомъ столѣ Іоанна Грознаго. Выписавши нѣсколько отрывковъ, рецензентъ говоритъ:

„Признаюсь, я не утерпѣлъ, чтобъ не показать это описаніе своему коллегѣ, учителю латинскаго языка, который имѣетъ весьма основательныя свѣдѣнія о томъ объяденіи, которому, въ древности, предавались римляне. Но и онъ пришелъ въ восторгъ и наотрѣзъ мнѣ сказалъ, что римляне никогда ничего подобнаго не ѣдали.

„Нѣчто подобное обжорному московскому великолѣпію видимъ мы лишь въ древнемъ Карѳагенѣ, какъ о томъ свидѣтельствуетъ французскій писатель Густавъ Флоберъ, издавшій въ прошломъ году знаменитый романъ „Salammbô“.

„Содержаніе сихъ романовъ („Князя Серебрянаго“ и „Salammbô“) во многомъ до такой степени сходствуетъ, что нелишне было бы провести между ними нѣкоторую параллель, дабы видѣть, что̀ и кто у кого предвосхитилъ.

„Мѣсто дѣйствія „Князя Серебрянаго“ происходитъ въ древней Москвѣ; мѣсто дѣйствія „Salammbô“ происходитъ въ древнемъ Карѳагенѣ. Повидимому, тутъ сходства нѣтъ, но это лишь повидимому, и это-то именно я берусь дока...“

„На этомъ мѣстѣ,—замѣчено дальше въ текстѣ,—рукопись прервана несчастною смертью рецензента“.

Русскій историческій романъ есть, безъ сомнѣнія, одна изъ труднѣйшихъ, хотя очень популярная между читателями литературная форма. Произведенія этого рода очень у насъ многочисленны, но нельзя сказать, чтобы

огромное большинство ихъ было удачно. Самая форма была заимствованная. Успѣхъ Вальтеръ-Скотта распространилъ историческій романъ во всей европейской литературѣ, между прочимъ и у насъ; но когда Вальтеръ-Скоттъ имѣлъ обильный матеріалъ въ старыхъ хроникахъ, живыхъ преданіяхъ, вещественныхъ остаткахъ старины, напримѣръ въ видѣ древнихъ замковъ съ ихъ сохранившеюся средневѣковою обстановкой, когда, кромѣ того, въ самомъ бытѣ и нравахъ онъ встрѣчалъ извѣстную крѣпость стараго обычая, расположеніе къ старинѣ, доходящее даже до мелочей и крайностей,—совершенно въ иномъ положеніи оказывался русскій историческій романистъ. У насъ нѣтъ такой хроники, которая раскрыла бы подробности стараго общественнаго быта и мелкія черты домашней жизни, характеровъ и т. п.; личныя свойства даже крупнѣйшихъ историческихъ дѣятелей, положимъ XVI-го и XVII-го вѣка, очень часто составляютъ если не совершенную загадку, то спорный вопросъ, или являются передъ нами только въ общихъ неопредѣленныхъ очертаніяхъ; памятники вещественнаго быта почти исчезли (кромѣ старыхъ церквей) — архитектура наша была деревянная и частью сгнила, частью сгорѣла; преданія стариннаго быта были заслонены и истреблены въ высшемъ классѣ Петровской реформой и остались только въ томъ видоизмѣненіи, какое представляютъ они въ народной массѣ, и т. д. Такимъ образомъ, матеріалъ не великъ; что же касается до освѣщенія, оно давалось не живымъ преданіемъ старины, а тѣми изслѣдованіями, которыя были уже дѣломъ кабинетныхъ ученыхъ и археологовъ. Въ эпоху первыхъ непосредственныхъ вліяній Вальтеръ-Скотта такимъ ученымъ авторитетомъ былъ Ка-

рамзинъ, у котораго къ большому, по его времени, фактическому знанію присоединилась новѣйшая политическая теорія и сентиментальная окраска всей его литературной дѣятельности, заимствованная у французскихъ и нѣмецкихъ писателей конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка. Живое преданіе старины замѣнялось нѣсколькими старинными документами, извлеченными изъ архивовъ, но слишкомъ скудными, чтобы по нимъ можно было сдѣлать достаточно ясную и рельефную реставрацію... На подобномъ матеріалѣ основанъ былъ первый романъ, съ котораго начинается у насъ эта отрасль литературы. Извѣстно, что „Юрій Милославскій“, который перешелъ теперь въ непритязательную область юношескаго чтенія, при первомъ появленіи произвелъ сильное впечатлѣніе въ литературныхъ кругахъ и увлекалъ даже самого Пушкина. За нимъ потянулся длинный рядъ подражаній... Возможность болѣе совершенной формы начинается только для такихъ эпохъ, до которыхъ достигаютъ преданія: таковы, напримѣръ, историко-романическіе разсказы Пушкина о XVIII вѣкѣ, который былъ еще не далекъ и о которомъ Пушкинъ собиралъ и имѣлъ много живыхъ преданій, или таковъ романъ гр. Л. Н. Толстого: „Война и миръ“. Гр. А. К. Толстой попробовалъ обратиться къ XVI-му вѣку и оказался въ томъ же положеніи, въ какомъ былъ Загоскинъ: недостатокъ живого ощущенія исторіи и непосредственныхъ преданій и памятниковъ старины пришлось дополнять извлеченіями изъ сухихъ документовъ (таковъ, напримѣръ, счетъ блюдъ за царскимъ столомъ) или чистой фантазіей, настроенной опять на прежній сентиментальный тонъ Карамзинской исторіографіи. Это и хотѣлъ указать Салтыковъ, предоставляя писать разборъ

„Князя Серебрянаго“ старому учителю реторики, восхищавшемуся въ юности „Юріемъ Милославскимъ“. Какъ трудна у насъ реставрація старины, можно судить и по другимъ произведеніямъ А. К. Толстого: къ числу наиболѣе слабыхъ его пьесъ принадлежатъ, безъ сомнѣнія, его реставраціи древнихъ былинъ.

До какой степени Салтыкову была антипатична всякая искусственность, можно видѣть на множествѣ примѣровъ въ его отзывахъ о литературныхъ явленіяхъ нашего времени. Однажды онъ останавливается на произведеніяхъ одного изъ извѣстнѣйшихъ русскихъ лириковъ [1]). Въ нѣсколько неясныхъ выраженіяхъ, темнота которыхъ, безъ сомнѣнія, приводилась обычнымъ нежеланіемъ Салтыкова спорить со своимъ цензоромъ, онъ вспоминаетъ старыя, еще не очень давнія времена русской поэзіи и указываетъ ея общественную роль.

„Для всѣхъ очевидно, что искусство мало-по-малу начинаетъ расширять свои предѣлы и допускать въ свою область такіе элементы, которые долгое время считались ему чуждыми. Искусство жило отдѣльною отъ дѣлъ сего міра жизнію; оно направлено было исключительно къ тому, чтобы украшать и утѣшать, и, надо сказать правду, исполняло свою задачу очень исправно, т.-е. обманывало и обольщало, насколько хватало у него силъ. Будучи плодомъ досужества, оно обращалось исключительно къ досужеству же; услаждало досуги досужихъ людей, и это сообщало ему тотъ чистенькій, аристократическій

---

[1]) „Современникъ“, 1864, № 2, въ отдѣлѣ „Русской литературы“ стр. 260 и слѣд.

характеръ, который составляетъ необходимую принадлежность всякаго рода успокоительныхъ вѣяній и усладительныхъ сновъ.

Я лиру томно строю
Пѣть скорбь, объявшу духъ:
Приди грустить со мною,
Луна, печальныхъ другъ! [1]).

„Такъ говорилъ поэтъ-художникъ, и совершенно основательно изображался на картинкахъ съ лирой въ рукахъ и съ обращенными къ небу очами. „Скорбь", которую онъ намѣревался воспѣть, вовсе не была скорбью дѣйствительною, хватающею за живое; это была та тихая, сладкая и неопредѣленная скорбь, потребность которой въ особенности сильно чувствуется досужествомъ. Это не скорбь, а пріятное чувство томнаго разслабленія; человѣкъ доволенъ и счастливъ; онъ хорошо обставленъ, не чувствуетъ надъ собой тяготѣнія страшной матеріальной нужды; но въ то же время смутно ощущаетъ, что ему чего-то недостаетъ. Это что-то недостающее, это нѣчто, составляющее необходимую подробность въ общей картинѣ жизни, и есть та самая „грусть", во свидѣтельницы которой приглашается луна, и которая, въ видѣ утратившаго свою ѣдкость дыма, доходитъ до обонянія досужаго человѣка (благо, щели не окончательно на-глухо законопачены!) изъ тѣхъ низменныхъ пространствъ, гдѣ она зарождается со всѣми признаками дѣйствительнаго, а не увеселительнаго горя, гдѣ она зрѣетъ и обсѣменяетъ почву своими проклятыми сѣменами. Коли хотите, это даже и не грусть совсѣмъ, а просто увеселительное

[1]) Примѣръ, помѣщавшійся обыкновенно въ старинныхъ учебникахъ реторики.

представленіе, которому, для разнообразія, [illegible] меланхолическій характеръ.

„Тѣмъ не менѣе, мы были бы неправы, не отдавши поэтамъ-художникамъ должной справедливости. Какъ ни лимфатична была ихъ „грусть“, какъ ни незначительна была ея доля въ той общей массѣ всякаго рода воинственно-увеселительно-полового клубницизма, составлявшаго главное содержаніе ихъ пѣснопѣній, все-таки эта „грусть“ о чемъ-то напоминала, все-таки она была отблескомъ (хотя и очень слабымъ) той дѣйствительной грусти, которая росла и ростетъ, невидимая даже сквозь щели, въ тѣхъ темныхъ пространствахъ, о которыхъ сказано выше“.

Такъ характеризовалъ Салтыковъ тѣ времена русской поэзіи, когда она была только-что перенесеннымъ къ намъ плодомъ чужого общества и чужихъ нравовъ. Это были извѣстныя времена псевдо-классицизма, когда поэзія служила въ особенности „украшеніемъ“ придворной и аристократической жизни, и еще долго потомъ такая поэзія была достояніемъ образованнаго класса, находила своихъ дѣятелей и любителей именно въ обезпеченной, привилегированной средѣ, что̀ Салтыковъ обозначаетъ названіемъ „досужества“. Поэты-художники стараго времени,—продолжаетъ Салтыковъ,—несмотря на свое умственное малокровіе, все-таки имѣли органическую связь съ такъ-называемымъ темнымъ царствомъ. Настоящіе досужіе люди, предававшіеся искусству, не въ состояніи были произвести ничего кромѣ безсмыслицы, и для оживленія своего досужества необходимо должны были обращаться къ людямъ второго сорта, даже къ людямъ настоящаго темнаго царства, и только здѣсь получались и

настоящіе таланты, и присутствіе жизни. Связь этихъ послѣднихъ людей съ досужествомъ заражала и ихъ умственнымъ малокровіемъ, но въ концѣ концовъ число ихъ такъ размножилось, что роли перемѣнились: прежде досужество развращало пришельцевъ; теперь они стали развращать его и постепенно „подкрашивать его лимфу“. Дѣло происходитъ, впрочемъ, само собою; досужество чувствуетъ, что полная замкнутость носитъ въ себѣ сѣмена смерти. „Досужество растлѣвается, но растлѣвается, такъ сказать, добровольно, ибо растлѣніе это таится въ немъ самомъ, въ томъ малокровіи, на которое оно фаталистически осуждено, въ томъ опасеніи смерти, которое преслѣдуетъ его съ самой минуты его рожденія. И вотъ оно ищетъ возобновиться и освѣжить себя притокомъ свѣжаго, неспертаго воздуха; со временемъ, быть можетъ, этотъ свѣжій воздухъ сшибетъ его съ ногъ; быть можетъ, оно даже и предвидитъ этотъ конецъ, но предвидитъ или не предвидитъ, а идетъ къ нему непринужденно и даже, такъ сказать, веселыми ногами“.

Наконецъ, развитіе жизни дѣлаетъ свое дѣло.

„По мѣрѣ вторженія въ сферу досужества новыхъ силъ, прежнія отношенія искусства къ жизни дѣлаются все болѣе и болѣе невозможными. Жизнь заявляетъ претензію стать исключительнымъ предметомъ для искусства, и притомъ не праздничными, безмятежно идиллическими и сладостными, но и будничными, горькими, рѣжущими глаза сторонами. Мало того: она претендуетъ, что въ этихъ-то послѣднихъ сторонахъ и заключается самая „суть“ человѣческой поэзіи, что игривые ландшафты и надзвѣздныя пространства, хотя и могутъ еще, по нуждѣ,

оставаться болѣе или менѣе пріятными аксессуарами, но дѣйствительнаго, истинно-человѣческаго содержанія искусству ни подъ какимъ видомъ дать не могутъ. Искусство, слѣдуя этой теоріи, принимаетъ характеръ преимущественно человѣческій или, лучше сказать, общественный (такъ какъ человѣкъ, изолированный отъ общества, немыслимъ), и чѣмъ ближе вглядывается въ жизнь, чѣмъ глубже захватываетъ вопросы, ею выдвигаемые, тѣмъ достойнѣе носитъ свое имя".

Въ такомъ видѣ представляется Салтыкову развитіе нашей литературы или собственно лирики, отъ старинной восхвалительной оды до Фета и Майкова, и съ другой стороны, напримѣръ, до Некрасова. Здѣсь опять литература является передъ нимъ въ особенности, почти исключительно, со стороны ея общественнаго значенія. Въ цѣломъ, во взглядѣ Салтыкова могла быть односторонность, потому что старая поэзія, во-первыхъ, была необходимою ступенью въ развитіи самой возможности литературы; а во-вторыхъ, по содержанію служила не одному досужеству и на свою долю участвовала въ распространеніи болѣе человѣчныхъ понятій въ общественной массѣ и самой привычки къ искусству. Салтыковъ по обыкновенію беретъ предметъ въ наиболѣе рѣзкихъ чертахъ его сущности.

Онъ говоритъ затѣмъ о томъ положеніи, въ какомъ очутилась старая поэзія досужихъ людей, встрѣтившись лицомъ къ лицу съ вопросами и стремленіями современности.

Переворотъ, совершившійся въ понятіяхъ о значеніи искусства, потребовалъ, конечно, новыхъ дѣятелей; „но онъ до того жизненъ и силенъ, что охватываетъ собой

даже и тѣхъ старыхъ поэтовъ-художниковъ, которые до тѣхъ поръ пѣли исключительно о счастьѣ птицъ. Всѣмъ хочется пріобщиться къ движенію, ибо, благодаря своей жизненности, оно всѣхъ затрогиваетъ за живое, всѣхъ неслышно въ себя втягиваетъ.

„Но понятно, въ какомъ затрудненіи должны находиться эти благонамѣренные и восчувствовавшіе старички. Съ одной стороны, сердца ихъ несутся къ птицамъ и надзвѣзднымъ высотамъ, съ другой—нѣчто смутно говоритъ имъ, что птичьи пѣсни уже никого не удовлетворяютъ и никому не нужны. И вотъ они начинаютъ соединять несоединимое, начинаютъ склеивать старое, привычное и любезное для нихъ дѣло съ дѣломъ новымъ, привлекающимъ ихъ взоры своею жизненностью. И начинаютъ они вдумываться, куда бы имъ приткнуться, начинаютъ вникать въ смыслъ происходящаго передъ ними движенія, но смысла этого угадать не могутъ, а только улавливаютъ одни внѣшніе признаки, тѣ самые, которые и въ старинныхъ реторикахъ уже были помѣчены извѣстными рубриками.

„Вторженіе новой жизни собственно въ нашу литературу (разумѣется, въ смыслѣ искусства, а не науки) выразилось или въ формѣ сатиры, которая провожаетъ въ царство тѣней все отживающее, или же въ формѣ не всегда ясныхъ и опредѣленныхъ привѣтствій тѣмъ темнымъ, еще неузнаннымъ силамъ, которыхъ наплывъ такъ ясно всѣми чувствуется. Это и понятно. Новая жизнь еще слагается; она не можетъ и выразиться иначе, какъ отрицательно, въ формѣ сатиры, или въ формѣ предчувствія и предвѣдѣнія. Но и для того, чтобы имѣть право выразить ихъ такимъ образомъ, искусство все-таки обя-

зано имѣть понятіе о томъ, о чемъ оно ведетъ свою рѣчь, и сверхъ того обладать какимъ-нибудь идеаломъ. Вотъ этимъ-то послѣднимъ условіямъ и не можетъ никакъ отвѣчать „поэтъ высотъ надзвѣздныхъ“, ибо все, что ни дѣлается новаго въ мірѣ, все это, такъ сказать, не при немъ дѣлается, и какъ ни усиливается онъ пріобщиться къ движенію, но успѣваетъ въ этомъ только отчасти, т.-е. именно схватываньемъ только нѣкоторыхъ внѣшнихъ его признаковъ“...

Салтыковъ посвящаетъ довольно подробный разборъ между прочимъ двумъ вышедшимъ тогда стихотвореніямъ г. Майкова: одно—„Другу Ильѣ Ильичу“—представляло сатиру на тогдашній либерализмъ; другое, подъ названіемъ „Картинка“, написанное „послѣ манифеста 19-го февраля 1861 года“, разсказывало, какимъ образомъ маленькая грамотная дѣвочка будто бы читала про волю собравшимся въ избѣ мужикамъ. Салтыковъ очень сурово отнесся къ обоимъ произведеніямъ, видя тамъ и здѣсь превратное пониманіе дѣйствительности, отсутствіе общественнаго идеала. или—выдумку.

Такимъ образомъ, Салтыковъ относится недовѣрчиво къ воспѣванію надзвѣздныхъ высотъ, о которыхъ поэтъ, конечно, знаетъ столь же мало, какъ и обыкновенный человѣкъ. Салтыкову понятна только поэзія, посвященная изображенію дѣйствительной жизни, дѣйствительнаго чувства, истинно человѣчныхъ идеаловъ, личныхъ и общественныхъ. „Надзвѣздныя высоты“ были ему тѣмъ болѣе сомнительны, что современная поэзія слишкомъ ими зло-

употребляла, нерѣдко прикрывая ими простое отсутствіе здраваго содержанія.

Для знакомства со взглядами Салтыкова въ этомъ отношеніи любопытна статья его по поводу поэмы Альфреда Мюссе: „Ролла“, явившейся тогда въ русскомъ переводѣ.

„Міръ поэзіи — безграничное; поэтъ творитъ подъ вліяніемъ возбужденнаго чувства (вдохновенія); вдохновеніе, съ своей стороны, есть нѣчто совершенно особливое, независимое, не столько управляемое поэтомъ, сколько управляющее имъ. Поэтому поэтъ имѣетъ такія свойства, какихъ не имѣютъ другіе смертные, а именно, онъ можетъ непосредственно проникать въ тайны природы и даже прорицать будущее.

„Съ природой одною онъ жизнію жилъ,
Онъ чувствовалъ (sic) травъ прозябанье...

„Таковы приблизительно понятія, которыя не только у насъ, но и въ Европѣ (особливо же въ отечествѣ всякаго фразерства, — Франціи), до сихъ поръ соединяются со словами: поэтъ, поэзія. Разумѣется, если вдуматься въ нихъ попристальнѣе, то очень скоро окажется, что въ нихъ, кромѣ ребячества и великолѣпной чепухи, ничего нѣтъ; тѣмъ не менѣе, авторитетъ ихъ несомнѣненъ и имѣетъ силу не только для толпы непосвященной и безсознательно повторяющей всякаго рода опредѣленія съ чужого голоса, но и для самихъ такъ-называемыхъ жрецовъ искусства. Сами поэты (по крайней мѣрѣ, огромное ихъ большинство) очень серьезно мнятъ себя служителями безграничнаго, прорицателями невѣдомаго, и на указанія науки, здраваго смысла и опыта смотрятъ какъ на что-то такое, что подрываетъ поэзію въ самомъ ея

корнѣ и существенно противорѣчитъ провиденціальной ихъ миссіи. И лишь немногія, уже совершенно геніальныя личности уразумѣли, что конкретность, отсутствіе преувеличеній, опредѣлительность представленій и ощущеній и всегдашнее пребываніе въ здравомъ умѣ и твердой памяти не только не враждебны поэзіи, но даже представляютъ существенныя условія, обезпечивающія этой послѣдней здоровое, живое и разнообразное содержаніе.

„Нѣтъ сомнѣнія, что вся изложенная выше путаница происходитъ, какъ выражается у Островскаго Липочка Большова, единственно отъ необразованія. Чѣмъ болѣе знаній проникаетъ въ массы, тѣмъ менѣе дѣлаются возможными разнузданность фантазіи и „смѣлость полета“. Точно то же должно произойти и относительно многихъ другихъ неосновательныхъ фразъ и выраженій, которыя нынѣ, благодаря вдохновеннымъ жрецамъ искусства, пользуются правомъ гражданственности. Призраки разсѣются, туманы упадутъ, неопредѣленность исчезнетъ, ихъ мѣсто заступятъ: знаніе, ясность представленій и жизнь, настоящая, невыдуманная жизнь... что-то станется тогда съ тобою, служительница безграничнаго, безконечнаго, неизвѣданнаго и неисповѣдимаго?“

Но это еще—гадательное будущее, а въ ожиданіи мы должны довольствоваться маленькими поэтиками, которые, по мнѣнію Салтыкова, „всѣми силами своихъ легкихъ отстаиваютъ права мрака и невѣжества на господство надъ міромъ“.

„У этихъ маленькихъ поборниковъ таинственной чепухи бываютъ иногда престранныя фантазіи. То кажется имъ, что міръ исполненъ свѣта, красоты, чудесъ и вся-

кой благодати, то вдругъ покажется, что міръ погрязъ въ злѣ и безобразіи. Сегодня они будутъ радоваться и пѣть восторженные гимны, завтра — посыплютъ главы пепломъ и разразятся проклятіями всему человѣческому роду. Однимъ словомъ, это народъ, живущій вдохновенно-безсознательною жизнью, восторгающійся и проклинающій подъ игомъ перваго и притомъ всегда случайнаго впечатлѣнія, а потому въ высшей степени непостоянный и малосообразительный".

Поднимая на смѣхъ этихъ маленькихъ поэтовъ, Салтыковъ утверждаетъ, что какъ ихъ скорбь, такъ и безсознательное ликованіе происходятъ единственно отъ необразованія. Если, напримѣръ, поэтъ говоритъ:

И не знаю я, что̀ буду
Пѣть, но только пѣсня зрѣетъ...

то это выходитъ только красивая безсмыслица, и человѣкъ, находящійся въ здравомъ умѣ и твердой памяти, не можетъ не знать, что̀ будетъ дѣлать при извѣстныхъ обстоятельствахъ. Еще не было бы большой бѣды, если бы все это кончалось однимъ „волтижерствомъ" самихъ поэтовъ, но заурядная поэзія дѣлается и вредной, потому что прямо способствуетъ распространенію предразсудковъ. Салтыковъ думаетъ, что когда поэтъ говоритъ объ ночи:

Спитъ съ Ѳетидой Фебъ влюбленный,

или объ утрѣ:

Аврора ужъ не спитъ,
И смутясь блаженствомъ бога,
Изъ подводнаго чертога
Съ яркимъ факеломъ бѣжитъ,—

то поэтъ мало чѣмъ отличается отъ толпы, не понимающей явленій природы.

Но,—говоритъ Салтыковъ,—сказанное выше вовсе не означаетъ неуваженія къ поэзіи; напротивъ, поэзія есть одна изъ самыхъ законныхъ отраслей умственной человѣческой дѣятельности и нисколько не враждебна ни истинѣ, ни знанію. „Въ доказательство можно бы было привести множество примѣровъ, что чѣмъ выше поэтическая сила, тѣмъ реальнѣе и истиннѣе ея міросозерцаніе. Не говоря уже о Шекспирѣ, этомъ царѣ поэтовъ, у котораго всякое слово проникнуто дѣльностью, не упоминая также о множествѣ менѣе сильныхъ поэтовъ, которые тоже были непричастны лганью, мы можемъ на примѣрахъ гораздо болѣе намъ близкихъ удостовѣриться, что невѣжество, преувеличенія и фальшь никакъ не могутъ считаться неотъемлемою принадлежностью поэзіи“.

И онъ приводитъ описаніе весенняго вечера изъ одного русскаго писателя. Наблюдатель не-поэтъ, — говоритъ Салтыковъ,—описалъ бы этотъ вечеръ иначе: напримѣръ, означилъ бы часъ и минуту захожденія солнца, состояніе термометра и барометра и т. п., но это былъ бы лишь тощій формулярный списокъ весенняго вечера. „Нѣтъ сомнѣнія, что г. Тургеневъ (приведенное выше описаніе принадлежитъ ему) тотъ же самый предметъ изобразилъ несравненно поэтичнѣе, тѣмъ не менѣе описаніе его ни въ одной чертѣ не противорѣчитъ истинѣ, и ни одинъ метеорологъ или астрономъ-наблюдатель не позволитъ себѣ сказать, что тутъ есть что-нибудь невѣрное, нелѣпое или преувеличенное. Спрашивается теперь: утратила ли картина сколько-нибудь своей поэтической прелести отъ того, что въ ней нѣтъ ни „влюбленнаго Феба, спящаго съ

Оетидой", ни Авроры, бѣгущей съ факеломъ изъ подводнаго чертога?"

Все это пришло на мысль Салтыкову по поводу поэмы Альфреда Мюссе. Сама по себѣ, поэма поразительна по своему ничтожеству,—говоритъ Салтыковъ,—„но въ ней типически выразились тѣ стремленія къ милому невѣжеству, которыя, къ сожалѣнію, еще въ весьма большомъ ходу между такъ-называемыми поэтами". Содержаніе поэмы, повидимому, очень простое. „Дряпной человѣчишка", по имени Ролла, растратившій свои силы и состояніе въ гадкомъ развратѣ, рѣшается покончить съ жизнью; для этого онъ совершаетъ еще одно дѣло гадкаго разврата и, выпивши ядъ, умираетъ.

„Сюжетъ, какъ водится, дюжинный, и проникаться по поводу его негодованіемъ къ человѣческому роду, выставлять подобный поганый случай какъ результатъ распространившейся страсти къ анализу, совершенно ни на что не похоже. Конечно, и нынѣ встрѣчается на свѣтѣ довольное количество шелопаевъ и негодныхъ людей; но вѣдь никакъ нельзя же сказать, чтобы и въ прежнія времена въ нихъ ощущался недостатокъ. Напротивъ того, исторія и этнографія самымъ убѣдительнымъ образомъ доказываютъ, что въ тѣ времена и въ тѣхъ странахъ, гдѣ знанія слабы, негодяевъ и безнравственныхъ людей бываетъ гораздо болѣе, нежели въ тѣ времена и въ тѣхъ странахъ, гдѣ сумма знаній сравнительно больше, гдѣ люди осмысливаютъ свои поступки и желаютъ видѣть факты въ ихъ настоящемъ свѣтѣ, а не окруженными непроницаемымъ мракомъ невѣжества.

„Но не такъ мыслитъ маленькій поэтикъ Альфредъ Мюссе. Пошлый поступокъ своего пошлаго героя онъ

приписываетъ—чему бы вы думали? приписываетъ вліянію Вольтера!! Что̀ можетъ быть общаго между Вольтеромъ и дряннымъ человѣчишкомъ, называющимся Роллою, этого постичь совершенно невозможно; тѣмъ не менѣе Мюссе твердо стоитъ на своемъ и всячески клянется, что не будь Вольтера, не было бы и его дрянного Роллы. По несообразительности своей, онъ даже не задаетъ себѣ вопроса: а что̀, еслибы, вмѣсто исторіи Роллы, разсказать исторію какого-нибудь Катилины или другого, подобнаго ему, древняго героя, возможно ли было бы обвинить по поводу него Вольтера и страсть къ анализу? Онъ—поэтъ, и въ этомъ качествѣ не хочетъ имѣть никакого дѣла съ показаніями исторіи. Полагая всю сущность поэзіи въ смѣлости полета, а всю прелесть жизни—въ невѣжествѣ, онъ весьма естественно желаетъ уязвить если не самое знаніе, то, по крайней мѣрѣ, поползновеніе къ знанію. Однимъ словомъ, онъ чувствуетъ необходимость защитить дорогое его сердцу невѣжество, подъ покровомъ котораго, по мнѣнію его, неприкосновенно сохраняется поэтическая свѣжесть и цѣльность жизни".

Не будемъ останавливаться на критическихъ отзывахъ Салтыкова о другихъ, менѣе крупныхъ явленіяхъ того времени, какъ романы Лажечникова, Леонтьева, пьесы Ѳ. Устрялова, стихотворенія Крестовскаго (не псевдонима); не будемъ также приводить его небольшихъ критическихъ замѣтокъ въ библіографической хроникѣ,—хотя всѣ они заключаютъ обыкновенно мѣткія и остроумныя сужденія. Упомянемъ еще только о нѣкоторыхъ фактахъ его литературной полемики. Кромѣ того, что̀ уже было упомянуто выше, Салтыковъ въ тѣ годы нѣсколько разъ возвращался къ изданіямъ, которыя воз-

буждали въ немъ бо́льшую или ме́ньшую антипатію. Въ своихъ хроникахъ онъ высказывалъ весьма положительно свои возраженія на теоріи, какія излагались въ изданіяхъ, выступившихъ на реакціонную дорогу; въ другихъ случаяхъ онъ дѣйствовалъ уже только насмѣшкой, считая безполезнымъ какой-нибудь серьезный разговоръ.

Главнымъ мѣстопребываніемъ реакціонной печати была тогда, какъ и впослѣдствіи, Москва. Между Москвой и Петербургомъ издавна велось нѣкоторое соперничество, не однажды проникавшее въ литературу. Въ сущности оно было лишено всякаго серьезнаго основанія: Москва и Петербургъ находились и находятся въ одномъ и томъ же государствѣ, подъ тѣми же самыми законами, съ тѣми же условіями общественности и литературы, но московскіе писатели издавна воображали, что они гораздо лучшіе русскіе люди, чѣмъ петербуржцы, въ которыхъ предполагалось меньше знанія „русскаго духа", больше погони за иноземными новизнами и даже меньше патріотизма. До какой степени увѣрены были въ этомъ славянофилы, извѣстно. Этотъ особый московскій патріотизмъ сказывался одновременно даже въ противоположныхъ лагеряхъ. Истинные ревнители просвѣщенія гордились тѣмъ, что Москвѣ принадлежитъ старѣйшій и заслуженный русскій университетъ; патріотическіе мечтатели убѣждены были, что только въ Москвѣ находится хранилище истиннаго русскаго духа; даже московскіе ретрограды полагали, что старая Москва придаетъ силы ихъ мрачнымъ воззваніямъ... Отсутствіе движенія и шума настоящей столицы привлекало въ Москвѣ больше вниманія къ общественнымъ явленіямъ, которыя бывали гораздо менѣе замѣтны въ Петербургѣ, и москвичи, дѣйствительно, при-

выкали придавать имъ значеніе событій. Московскій журналъ, публичная лекція, концертъ, полемика и т. п. дѣлали иной разъ въ Москвѣ больше шуму, чѣмъ было бы въ Петербургѣ, и такъ какъ въ этой общественной жизни, въ 30-хъ, въ 40-хъ годахъ и послѣ, появлялись дѣятели съ истинными дарованіями, то это чувство московской особности какъ будто получало нѣкоторое основаніе... Славянофилы, впервые начавшіе со второй половины 50-хъ годовъ свои изданія и въ особенности развивавшіе эту черту мѣстнаго патріотизма, утверждали цѣлой своей теоріей, что иначе и не должно быть, что только въ Москвѣ и возможно настоящее русское сознаніе, потерянное въ петербургской Русляндіи. Салтыковъ, какъ мы упоминали, очень хорошо зналъ Москву и зналъ также эту московскую слабость. Начиная въ „Современникѣ“ свои „Московскія письма“, онъ дѣлаетъ слѣдующее предварительное замѣчаніе:

„Я не знаю отчего, но всякій разъ, какъ я проѣзжаю мимо нашего Малаго театра, мною овладѣваетъ какой-то священный ужасъ. Мнѣ все кажется, что тамъ не играютъ, а совершаютъ какія-то таинства, производятъ какія-то возліянія. Мнѣ кажется, что тамъ, въ темномъ углу стоитъ стыдливая богиня Искусства, что Разсказовъ сметаетъ съ нея пыль, что Садовскій стоитъ въ одеждахъ верховнаго жреца и нюхаетъ табакъ, окруженный Шумскимъ, Самаринымъ и Никифоровымъ, что Дмитревскій произноситъ возгласы, а М. С. Щепкинъ, въ видѣ стараго причетника, сдавшаго дьяческое мѣсто дочери, дрожащимъ отъ слезъ голосомъ поетъ:

„Мы искусству честно служимъ,
Даже денегъ не беремъ.

Мы, не ѣвши день, не тужимъ,
И, не ѣвши-жъ, спать идемъ!“ [1])

„Впрочемъ, Москва вообще производитъ на меня это подавляющее впечатлѣніе. Ѣду ли мимо университета, мнѣ кажется, что тамъ, передъ лицомъ Науки, г. Никита Крыловъ возлагаетъ руки на г. Бориса Чичерина, причемъ гг. Бабстъ, Бодянскій и Капустинъ поютъ:

„Не увлекшійся прогрессомъ,
Ты, продуктъ родной страны,
Служишь скромно интересамъ
Государственной казны“ [2]).

„Ѣду ли по Спиридоновкѣ, мимо редакціи „Дня“, мнѣ чудится, сквозь тьму, царствующую въ ея окнахъ, что тамъ есть какой-то храмъ, въ которомъ стоитъ богиня Народности, передъ которой преклоняетъ колѣна И. С. Аксаковъ и приноситъ въ жертву цыпленка, приготовленнаго à la polonaise, а гг. Погодинъ, Безсоновъ и Бѣляевъ поютъ:

„Ты, Аксаковымъ воспѣтый,
О, славянъ могучій родъ!
Что-то выйдетъ изъ атлета?
Мускулистѣйшій уродъ!“ [3])

„Знаете ли что? даже когда я проѣзжаю мимо Лоскутнаго трактира—и тогда мнѣ кажется, что тамъ не готовятъ, а молебны Молоху служатъ. Мнѣ чудится, что стоитъ главный поваръ и обдумываетъ, какимъ бы образомъ устроить, чтобы цѣлаго слона въ кострюлю уложить;

[1]) Примѣчаніе Салтыкова: Взято изъ водевиля: „Гризетка Лизетта, или насъ не оставитъ Богъ!“

[2]) Тоже: Взято изъ водевиля: „Сила судьбы, или Волшебный четвертакъ“.

[3]) Взято изъ водевиля: „Невинное препровожденіе времени“.

стоятъ кругомъ поварята и, разиня ротъ, ожидаютъ, что вотъ-вотъ главный поваръ скажетъ предику, и вдругъ вода закипитъ въ кострюляхъ, и вдругъ начнутъ съ боку на бокъ перевертываться на сковородкахъ чудодѣйственные поросята и до отвращенья откормленныя индѣйки. Даже когда я проѣзжаю по Арбату, Плющихѣ и проч., мимо всѣхъ этихъ запустѣлыхъ и неосвѣщенныхъ домовъ, то и тогда мнѣ кажется, что тамъ скрываются безвѣстные, покрытые пылью богини и боги, вокругъ которыхъ стоятъ почтенные московскіе обыватели и поютъ гимны Праздности“ [1]).

Такимъ образомъ и дѣятельность Ивана Аксакова ему самому представлялась священнодѣйствіемъ и жертвоприношеніемъ. Салтыковъ сомнѣвался въ результатахъ этихъ священнодѣйствій. Онъ жалѣетъ, что Иванъ Сергѣевичъ недостаточно вразумительно объясняетъ своимъ почитателямъ значеніе таинственнаго слова: „общество“, и, по мнѣнію Салтыкова, это происходитъ отъ того, что Иванъ Сергѣевичъ дѣйствуетъ вообще какъ-то не прямо, а больше посредствомъ фигуръ и уподобленій. Салтыковъ подшучиваетъ надъ однимъ изъ уподобленій, гдѣ изображается какое-то величественное дерево, которое верхушками упирается въ небо, а корнями высасываетъ изъ земли соки. „Дерево это прообразуетъ общество,—верхушка—вѣроятно, разумную этакую устроительную выспренность (земскій соборъ), сосущіе корни—вѣроятно, прожорливость, а земля... земля-то что̀ означаетъ?“ Это дерево подаетъ Салтыкову поводъ ко всякимъ размышленіямъ; онъ признается, что такія деревья очень мало его соблазняли; ему казалось обыкновенно, что эти деревья,

[1]) „Современникъ“, 1863, № 1, стр. 163, 164.

набравшись изъ земли соками, забываютъ о землѣ-кормилицѣ...

„Но допустимъ, наконецъ, что всѣ эти мечтанія совершились во-очію; что у насъ есть дерево-общество, которое вершиной упирается въ небо, а корнями въ землю,—что выйдетъ изъ этого? Боюсь сказать, но думаю, что изъ этого выйдетъ новый манеръ питанія соками земли—и ничего больше".

Намъ твердятъ, что нынѣшнее русское общество виновато тѣмъ, что ростетъ корнями не въ землю, а куда-то вверхъ на воздухъ. Салтыковъ находитъ, что это было бы недурно, — „вѣдь это просто означало бы, что общество живетъ и ничего лишняго не беретъ", то-есть не грабитъ народнаго труда. Но, увы, всякое дерево, хотя бы и стояло корнями въ землѣ, все-таки ростетъ и по мѣрѣ того горизонтъ его верхушки расширяется, а горизонтъ земли остается тотъ же тѣсный и низменный. Ремесло общества-дерева—мыслить, воображать, стремиться; ремесло земли — быть погруженной въ матеріальные интересы. „Для перваго — науки и искусства, для второй—заботы объ удовлетвореніи грубыхъ потребностей жизни; первое, съ помощью науки, очистило себя отъ предразсудковъ, вторая—вся лежитъ въ предразсудкахъ".

Въ слѣдующихъ затѣмъ словахъ, среди шутокъ и насмѣшекъ надъ невразумительными аллегоріями, читатель можетъ усмотрѣть и совершенно серьезный взглядъ Салтыкова на внутреннія задачи русскаго общества.

„Не ясно ли, что, вооружаясь противъ современнаго русскаго общества, вы на мѣсто его хотите создать нѣчто такое, что совершенно подобно ему, и что не только не разрѣшаетъ дѣла, но даже какъ будто запутываетъ его,

ибо нагромождаетъ надъ землею новую тяжесть, совершенно излишнюю?

„Если вы дѣйствительно хлопочете о землѣ, то для васъ это будетъ ясно. Но это вамъ только такъ кажется, что вы хлопочете о землѣ, да притомъ еще о *русской* землѣ. Въ сущности вы проповѣдуете ту же самую политическую теорію, которая давнымъ давно процвѣтаетъ на западѣ: вѣдь и тамъ существуетъ земля, и тамъ произрастаютъ на землѣ деревья. Чѣмъ же вы отличаетесь отъ тѣхъ, которыхъ называете „западниками"? Или, въ самомъ дѣлѣ, только тѣмъ, что исторія, писанная Мстиславами Удалыми и Іоаннами Грозными, милѣе для васъ, нежели исторія, писанная лейбъ-гвардіи преображенскимъ полкомъ? Да вѣдь это вашъ капризъ. А вы полюбите исторію, писанную преображенцами, и возненавидьте исторію, писанную Мстиславами—все это въ вашихъ рукахъ.

„Ко всѣмъ вашимъ мечтаніямъ о сближеніяхъ вы подмѣшиваете политическаго элемента—и это васъ спутываетъ. Не однимъ западникамъ, но и вамъ политическая тріада кажется чѣмъ-то въ родѣ очарованнаго круга, за черту котораго невозможно перейти; не одни западники, но и вы предаетесь сухотѣ отъ заботъ объ устройствѣ какой-то неестественной комбинаціи, которая обезпечивала бы... что обезпечивала бы? обезпечивала бы все ту же самую сущность, противъ которой вы, повидимому, сами ратуете. И потому, какъ вы ни стараетесь придумать что-нибудь народное, вы все-таки вращаетесь въ томъ же кругѣ, въ которомъ вращаются и оппоненты ваши, перетираете тѣ же идеи, которыя давнымъ давно уже перетерты другими, до того перетерты, что даже приготовляются къ сдачѣ въ архивъ.

„Мнѣ кажется, вы были бы гораздо ближе къ истинѣ, еслибъ отказались навсегда отъ политическихъ утопій и перенесли вопросъ на другую почву. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь весь вопросъ состоитъ въ томъ, какъ бы устроить сближеніе такимъ образомъ, чтобы этому не мѣшали ни образованіе, ни необразованіе, ни различіе способностей, ни другія случайности“...

Салтыковъ вспоминаетъ, что было бы желательно, напримѣръ, уравненіе передъ закономъ образованнаго г. Фета съ необразованнымъ работникомъ Семеномъ [1]).

Къ Ивану Аксакову Салтыковъ возвращается еще нѣсколько разъ, обыкновенно подшучивая надъ его публицистическими затѣями, напримѣръ, надъ изобличеніемъ шатающихся по Европѣ соотечественниковъ [2]), надъ желаніемъ пробудить общественные интересы въ провинціи и привлечь корреспонденціи изъ всѣхъ губерній [3]). При этомъ послѣднемъ случаѣ произошелъ между прочимъ эпизодъ, которымъ и занялся Салтыковъ. Изъ нѣкоторыхъ мѣстъ Аксаковъ дѣйствительно получилъ корреспонденціи (которыя показались Салтыкову балетными), но другія губерніи упорно молчали, между прочимъ тамбовская. Аксаковъ былъ такъ огорченъ или приведенъ въ такое негодованіе этимъ молчаніемъ, что написалъ объ этомъ въ „Днѣ“, выразивъ сомнѣніе, существуетъ ли дѣйствительно тамбовская губернія, или это только такъ, географическій терминъ. Оказалось, однако, что въ тамбовской губерніи живетъ въ своемъ помѣстьѣ не кто иной, какъ

---

[1]) „Современникъ“, 1863, № 4, стр. 399 – 401.

[2]) Кромѣ приведеннаго въ предъидущей статьѣ см., напр., „Свистокъ“, „Современникъ“, 1863, № 4, „Письма отца къ сыну“, стр. 19 и далѣе.

[3]) „Современникъ“, 1863, № 12, стр. 230 и слѣд.

самъ Б. Н. Чичеринъ, который вступился за честь своей губерніи. Онъ удостовѣрилъ, что тамбовская губернія стоитъ на своемъ мѣстѣ и что въ ея молчаніи нѣтъ ничего дурного, даже напротивъ. По мнѣнію его, въ такую минуту, когда „Россію постигла язва непомѣрнаго языкочесанія", когда свое слово хочетъ сказать даже тотъ, кому и говорить-то, въ сущности, нечего, губернія, которая молчитъ о себѣ, должна быть названа „мудрѣйшею изъ губерній"... Затѣмъ г. Чичеринъ объявлялъ, что молчаніе тамбовцевъ означаетъ, что они заняты дѣломъ, и что тамъ, въ этой степи, „въ тишинѣ совершается великое превращеніе народной жизни". „Повѣрьте,—заканчивалъ онъ,—молчаливыя губерніи—столпы русской земли. Вѣдь, между нами, мы отъ русскаго слова большого прока до сихъ поръ не видали, но въ русскомъ молчаніи таится громадная сила".

Аксаковъ не убѣдился этими доводами и объяснялъ, что если тамбовская губернія молчитъ теперь потому, что занята великимъ превращеніемъ народной жизни, то почему же она молчала во времена крѣпостного права? и что по логикѣ г. Чичерина выходитъ, что мы окружены цѣлымъ океаномъ гражданскаго благополучія и мудрости. Аксаковъ поздравлялъ г. Чичерина съ этимъ тамбовскимъ счастіемъ при сіяніи тамбовской мудрости.

Салтыковъ замѣчаетъ, что ему очень бы хотѣлось теперь же объяснить читателю, что̀ такое тамбовское счастіе и тамбовская мудрость; но, оставляя этотъ предметъ до другого случая, онъ хочетъ заняться только даннымъ вопросомъ: чего хочетъ Аксаковъ, что̀ отстаиваетъ отъ него г. Чичеринъ? Аксаковъ, очевидно, добивается истины; онъ хочетъ, чтобы всякій россіянинъ въ разго-

ворѣ съ какимъ-нибудь липпе-детмольдскимъ подданнымъ могъ сознательно сказать: „да, я люблю Россію, ибо въ отечествѣ моемъ есть тамбовская губернія, которая столько-то сотъ тысячъ пудовъ ржи производитъ на продажу; есть село Кимра, въ которомъ работается ежегодно до десяти тысячъ паръ сапоговъ, и есть городъ Ржевъ, въ которомъ приготовляется прекраснѣйшая яблочная пастила". „Такимъ стремленіямъ рѣшительно нельзя не сочувствовать",—говоритъ Салтыковъ,—но съ другой стороны онъ не можетъ не отдать справедливости и г. Чичерину, который, „становясь на точку зрѣнія общечеловѣческую, защищаетъ любезнѣйшее изъ правъ человѣка,—право молчанія. Такому стремленію тоже нельзя не сочувствовать, ибо право молчать должно быть столь же неприкосновенно сохранено человѣку, какъ и право говорить, и г. Чичеринъ, взявъ на себя защиту этого права, поступилъ какъ настоящій гражданинъ". Салтыковъ ведетъ и дальше этотъ вопросъ о тамбовской губерніи, старается вникнуть въ интимныя мысли Аксакова и Чичерина и, между прочимъ, полагаетъ, что послѣдній могъ опасаться, что тамбовской губерніи, можетъ быть, совсѣмъ нечего и сказать о себѣ: что, если она найдется говорить только о скотоводствѣ, и притомъ съ грамматическими ошибками? [1]).

Въ нѣсколько пріемовъ Салтыковъ обращался къ журналу „Время" (позднѣе „Эпоха"). Мы замѣчали выше, что это изданіе было ему вообще антипатично по тому неопредѣленному туману, которымъ покрыты были его разсужденія о тогдашнихъ общественныхъ дѣлахъ и при

[1]) „Современникъ", 1863, № 12, стр. 230 и далѣе.

которомъ однако журналъ отличался не малымъ задоромъ. Мы приводили, отчасти, споры Салтыкова съ этимъ направленіемъ.

Въ первой книжкѣ „Времени“ за 1863 годъ помѣщено было стихотвореніе г. Ѳ. Берга, начинавшееся такъ:

Изъ-за моря птицы прилетали,
Прилетали, въ рощѣ толковали.

—„Эхъ, бѣда теперь намъ, птицамъ смирнымъ,
Смирнымъ птицамъ, утицамъ залетнымъ.

На землѣ житья совсѣмъ не стало
Птицѣ смирной, птицѣ перелетной.

Полетимъ мы, птицы, на болота,
На болота, дальнія озера;

Въ камышахъ повьемъ мы, птицы, гнѣзда,
Въ камышахъ, туманахъ непроглядныхъ“ (?) и т. д.

Стихотвореніе кончается:

Изъ-за моря птицы прилетали,
Прилетали, въ рощѣ толковали.

Салтыковъ обратилъ вниманіе на это стихотвореніе. Выписавши первые стихи, онъ говоритъ: „Такъ гласитъ въ 1-мъ № „Времени“ поэтъ Ѳ. Бергъ, отнюдь не подозрѣвая, что онъ пишетъ самую язвительную характеристику того самаго журнала, въ которомъ помѣщаетъ стихи свои. Прилетали птицы: М. Достоевскій, А. Григорьевъ, гг. Страховъ и Косица.

Прилетали, въ рощѣ толковали...

„Разумѣется, толковали чепуху“.

И, выписавши все стихотвореніе, онъ продолжалъ:

„Какая поэзія! Хорошо, что все это не взаправду написано; хорошо, что это изображено съ язвительною цѣлью представить вѣрную характеристику „Времени“ [1]).

Не будемъ перечислять, какъ онъ возвращался къ этой темѣ, причемъ публицистика „Времени“ казалась ему только птичьими толками [2]). Не будемъ останавливаться и на другихъ его полемическихъ статьяхъ и литературныхъ обозрѣніяхъ: кромѣ тѣхъ писателей, которые выше названы, онъ говоритъ подробно или мимоходомъ о Лажечниковѣ, Крестовскомъ (не псевдонимѣ), Ѳ. Устряловѣ, М. и Ѳ. Достоевскихъ, Плещеевѣ, Майковѣ, Григоровичѣ, Леонтьевѣ, Гр. Данилевскомъ, Костомаровѣ (Н. И.) и „лже-Костомаровѣ“ (Всеволодѣ), Мельниковѣ, сопоставляемомъ съ Булгаринымъ, и пр.

Надо полагать, что когда-нибудь будутъ собраны тѣ крупныя и мелкія статьи, на которыхъ мы останавливались въ настоящемъ обзорѣ, и Салтыковъ явится передъ читателями еще съ новой, интересной стороны,— хотя и здѣсь, какъ вообще всякій сильный русскій писатель, Салтыковъ является передъ читателемъ далеко не во всей цѣлости своего содержанія и своего таланта, а напротивъ, по его собственному выраженію, „съ большими изъянами“ [3]).

Читатель, слѣдившій за настоящимъ изложеніемъ, безъ сомнѣнія, согласится, что эти произведенія Салтыкова—не входившія до сихъ поръ въ собранія его сочиненій, какъ чисто публицистическія или слишкомъ при-

---

[1]) „Современникъ“, 1863, № 3, стр. 194 и далѣе.
[2]) Ср. тамъ же, 1863, № 12, стр. 252; 1864, № 5, стр. 17—26 и пр.
[3]) „Современникъ“, 1863, № 12, стр. 239—241.

вязанныя къ данной минутѣ, исполнены великаго интереса. Интересъ заключается въ томъ, что здѣсь въ прямомъ отношеніи къ вопросамъ даннаго положенія Салтыковъ, быть можетъ, больше, чѣмъ когда-нибудь, высказывалъ то міровоззрѣніе, которое обыкновенно облекалось имъ только въ художественную, часто фантастическую форму, и вслѣдствіе того иногда оставалось неясной, почти загадочной, особенно для людей поверхностныхъ, которыхъ увлекало всего больше, и иногда только чисто анекдотически, блестящее остроуміе сатиры. Здѣсь, напротивъ, Салтыковъ не однажды раскрываетъ свою мысль до тѣхъ предѣловъ, какіе были возможны по внѣшнимъ условіямъ литературы; даетъ гораздо ближе угадывать свои общественные идеалы, высказываетъ свое высокое понятіе о достоинствѣ литературы, объ обязанностяхъ, лежащихъ на самомъ художественномъ творчествѣ; оставляетъ внѣ всякихъ сомнѣній свое отношеніе къ народу— отношеніе серьезное, исполненное уваженія къ „мужеству“ этого народа въ борьбѣ съ тяжкими обстоятельствами его быта, отношеніе прямое и свободное отъ всякихъ фантастическихъ преувеличеній и мечтаній, которыя такъ легко иногда испаряются на практикѣ, но проникнутое глубокимъ желаніемъ серьезнаго улучшенія его быта матеріальнаго и нравственнаго. Рядомъ съ этимъ Салтыковъ открыто и во многихъ случаяхъ съ большою силою негодующаго чувства вооружается противъ тѣхъ безнравственныхъ явленій, какія совершались въ тогдашней литературѣ, въ угоду надвигавшейся реакціи, или противъ безхарактерныхъ и, тѣмъ самымъ, по его мнѣнію, вредныхъ произведеній тогдашней публицистики, гдѣ мнимые народолюбцы, не выяснившіе самимъ себѣ, чего хотятъ,

предавались либеральному празднословію, сами не подозрѣвая, что приближаются къ лагерю настоящихъ обскурантовъ. Рѣчь его—та же, какую онъ велъ въ теченіе всей своей литературной дѣятельности, съ конца 1840-хъ до конца 80-хъ годовъ: серьезная мысль, задушевное стремленіе къ общественному благу облекаются въ необычайно живую форму бесѣды съ читателемъ, переплетающейся съ разсказомъ, размышленіями, то шутливыми, то ироническими, то въ основѣ глубоко печальными; оригинальное, неистощимое остроуміе блещетъ на каждой страницѣ. Въ цѣломъ мы видимъ здѣсь тотъ же необычайный талантъ, и разсмотрѣнныя нами крупныя и мелкія его произведенія должны стать рядомъ съ другими его сочиненіями, которыя до послѣдняго времени онъ вносилъ въ свои сборники.

Но если эти произведенія въ высокой степени любопытны для характеристики самого Салтыкова, раскрывая намъ этого писателя въ его непосредственномъ вмѣшательствѣ въ вопросы и борьбу общественной жизни, то съ другой стороны онѣ имѣютъ величайшій интересъ для исторіи нашего общества. Никогда впослѣдствіи Салтыковъ не являлся въ такой прямой публицистической роли, какъ въ описываемые годы: насколько было возможно при неизбѣжныхъ „изъянахъ“, онъ старался выяснить общественное положеніе, и въ его публицистикѣ остался матеріалъ для общественной исторіи того времени, который будетъ драгоцѣненъ для будущаго историка. Салтыковъ началъ этотъ публицистическій трудъ въ крайне трудныхъ условіяхъ. Только-что исполненная реформа повлекла за собой уже вскорѣ приступъ реакціи. Разсматриваемое теперь издали, почти черезъ тридцатилѣтній

промежутокъ времени, это явленіе становится весьма понятно. Наше общество такъ долго, въ сущности во все теченіе своей исторіи, отрѣшено было отъ какой-либо самодѣятельности, владѣло такою умѣренною долей просвѣщенія, такъ долго жило въ идеяхъ крѣпостного права, и въ то же время въ такой привычкѣ къ собственному безправію, что невозможно было думать, чтобы новая эпоха реформъ въ состояніи была въ три-четыре года измѣнить этотъ вѣками создававшійся общественный характеръ. Первый сильный толчокъ къ новому движенію дало внѣшнее событіе, Крымская война, указавшая крупные органическіе недостатки прежняго порядка вещей: урокъ былъ вразумителенъ, но въ той средѣ, какую представляло общество съ его упомянутыми качествами, онъ оставилъ только поверхностное дѣйствіе. Когда разъ было какъ будто понято и высказано, что вреденъ застой, что необходимъ „прогрессъ“, толки на эту тему стали ходячей фразой, на которой общество и успокоилось. Въ тѣсномъ кругу началась усиленная умственная работа, но большинство пребывало въ прежней умственной лѣни, и урокъ остался безполезенъ. Для умовъ проницательныхъ было въ самомъ началѣ ясно, какъ поверхностно было это мнимое возрожденіе въ массѣ общества, и послѣдствія оправдали это предвидѣніе. Крестьянская реформа имѣла, конечно, свое нравственное дѣйствіе, но и въ этомъ дѣйствіи было опять много неяснаго и обоюднаго: фактически она произвела переворотъ въ отношеніяхъ сословій и въ положеніи народной массы; возвратить прежняго было нельзя, но тѣмъ не менѣе были всѣ данныя для реакціи. Матеріально реформа тяжело и непріятно отозвалась на интересахъ именно вліятельнаго

класса, и его недовольство или раздраженіе, при нерѣшительности самой власти, повлекло, наконецъ, поворотъ съ пути „прогресса“ на старую привычную дорогу, чтобы если не возвратить потерянное, то по крайней мѣрѣ пріостановить или задержать дальнѣйшее движеніе. Въ то же самое время происходило и другое явленіе: общественное возбужденіе, какъ и естественно, всего сильнѣе подѣйствовало на новыя поколѣнія; если гдѣ былъ настоящій, хотя, быть можетъ, нѣсколько наивный энтузіазмъ отъ наступленія эпохи реформъ, то именно въ этомъ поколѣніи, видѣвшемъ отчасти послѣднюю пору прежняго порядка вещей и не сомнѣвавшемся, по юношеской горячности, что наступаетъ новая, небывалая пора во всей русской исторіи. Это выражалось живымъ интересомъ къ новой литературѣ и публицистикѣ, стремленіемъ въ школы и университеты, попытками служить самимъ народному образованію (воскресныя и безплатныя школы), вообще сильнымъ, неизвѣстнымъ прежде развитіемъ чувства общественности. Была, кромѣ того, и другая сторона дѣла: было значительное число людей изъ того самаго дворянства, особливо средняго и мелкаго, которое поставлено было крестьянской реформой въ неизвѣстныя прежде тяжелыя матеріальныя условія; въ то время, когда „отцы“ скорбѣли и негодовали на реформу, „дѣти“ встрѣчали ее съ смѣлыми надеждами молодости и искали новыхъ путей труда, который далъ бы имъ и средства существованія, и свободное положеніе въ новомъ образующемся, по ихъ мнѣнію, обществѣ; тѣ и другія побужденія, нравственныя и матеріальныя, охватили и значительную часть женскаго молодого поколѣнія. Отсюда та возбужденная жизнь, особливо въ молодыхъ

поколѣніяхъ, которая отличаетъ то время—конецъ 50-хъ и 60-ые года. Это возбужденіе заключало въ себѣ вполнѣ заслуживавшіе сочувствія нравственные мотивы, великодушные, хотя, повторимъ опять, иногда наивные порывы служить обществу и народу,—съ другой стороны весьма серьезные мотивы матеріальные, потому что для очень многихъ юношей и дѣвушекъ дворянскихъ семей шла рѣчь буквально о кускѣ хлѣба [1]). Къ глубокому сожалѣнію, это положеніе вещей, которое, между прочимъ, старалась объяснить нѣкоторая часть тогдашней литературы, не было понято вліятельными сферами, которыя, напротивъ, поддались инсинуаціямъ изъ реакціоннаго лагеря, и это движеніе, которое было самымъ естественнымъ результатомъ реформы (и съ нравственной, и съ матеріальной стороны) и которое, между прочимъ, вызывалось самыми человѣчными и законными стремленіями молодыхъ поколѣній, приняло въ глазахъ вліятельныхъ сферъ какой-то законопреступный характеръ,—печальное недоразумѣніе, имѣвшее и крайне прискорбныя послѣдствія. Принадлежность къ молодому поколѣнію дѣлала человѣка подозрительнымъ; заблужденія нѣсколькихъ отдѣльныхъ лицъ ставились въ вину цѣлому классу людей; на молодое поколѣніе огуломъ взводились даже небывалыя преступленія (какъ, напримѣръ, петербургскіе пожары лѣтомъ 1862 года — злобное и грубое обвиненіе, которое однако никогда не было доказано). Реакціонная печать самымъ гнуснымъ образомъ эксплуатировала это положеніе вещей. Вотъ условія, въ которыхъ Салтыковъ

[1]) Припомнимъ, напр., изъ отчетовъ бывшихъ женскихъ курсовъ, что огромный, преобладающій процентъ ихъ слушательницъ принадлежалъ именно лицамъ дворянскаго сословія.

открывалъ свое публицистическое поприще. Журналъ, въ редакціи котораго, по его возобновленіи, Салтыковъ принялъ участіе, только-что вынесъ административную опалу; изъ всей литературы на немъ въ особенности сосредоточены были полемическія нападенія и инсинуаціи реакціонной печати, и это однако былъ единственный органъ, въ которомъ могла найти мѣсто дѣятельность Салтыкова. Мы видѣли, сколько неутомимаго труда, сколько искренняго чувства положилъ Салтыковъ на эту работу; въ немъ самомъ широкія прежнія надежды (которыя вѣроятно были передъ тѣмъ) были подорваны открывавшимся передъ нимъ зрѣлищемъ нашей дѣйствительности, но, сколько было въ его силахъ, онъ стремился внести свѣтъ сознанія въ этотъ мракъ, окутывавшій общественный умъ и общественную совѣсть; онъ старался объяснить положеніе вещей, разоблачить себялюбивую и предательскую интригу и клевету, защитить „чуть-чуть пробивавшуюся жизнь“... Въ его хроникахъ, полемическихъ статьяхъ, критическихъ обзорахъ собраны черты тогдашней общественной жизни, которыя будутъ драгоцѣнны для будущаго безпристрастнаго изображенія этого времени. Изъ первой половины 60-хъ годовъ нельзя назвать другого писателя, который доставилъ бы столько этого *историческаго* матеріала. Остаются недомолвки (общій недостатокъ всей нашей литературы), но онѣ будутъ понятны, какъ понятны и теперь. Изъ-за мысли даровитаго писателя, возмущаемаго мрачными явленіями своей эпохи, проглядываетъ судъ исторіи.

Октябрь—декабрь, 1889 г.

Списокъ статей Салтыкова, помѣщенныхъ въ „Современникѣ“ за 1863—1864 годы.

— 1863. Книги 1—2. — Невинные разсказы. I. Деревенская тишь. II. Для дѣтскаго возраста. III. Миша и Ваня. *Н. Щедрина.* Стр. 161—208.

— Нѣсколько словъ по поводу замѣтки, помѣщенной въ октябрьской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ за 1862 годъ. *Т—на.* Стр. 1—16.

— Немного лѣтъ назадъ, романъ Лажечникова, стр. 111—123; Кремуцій Кордъ, Н. Костомарова, стр. 123—126; Приключенія, почерпнутыя изъ моря житейскаго. Воспитанница Сара. А. Вельтмана, стр. 126—129; Стихи Вс. Крестовскаго, стр. 129—136; Гражданскіе мотивы, сборн. современныхъ стихотвореній, изд. подъ редакціей А. П. Пятковскаго; Пѣсни скорбнаго поэта, стр. 136—140; Литературная подпись, А. Скавронскаго („Время“ за 1862 г., № 12), стр. 140—142; О старомъ и новомъ порядкѣ и объ устроенномъ трудѣ (travail organisé) въ примѣненіи къ нашимъ помѣстнымъ отношеніямъ. Члена Вольнаго экономическаго общ. Н. А. Безобразова, стр. 142—146 (разборы книгъ, безъ подписи).

— Московскія письма. I. *К. Гурина.* Стр. 163—176.

— Петербургскіе театры (безъ подписи), стр. 177—198.

„ — Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 357—376.

— 1863. Книга 3-я.—Послѣ обѣда въ гостяхъ. *Н. Щедрина.* Стр. 163—174.

— Московскія письма. II. *К. Гурина.* Стр. 12—22.

— Нѣсколько полемическихъ предположеній. Изъ письма въ редакцію (безъ подписи), стр. 1—10.

— Анаѳема, или торжество православія, и пр. Быстротокова (разборъ книги, безъ подписи), стр. 128—130.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 175—202.

„ Книга 4-я. — Нѣсколько серьезныхъ словъ, по поводу новѣйшихъ событій въ С.-Петербургѣ, М. Беницкаго; Замѣтки и отзывы „Русск. Вѣстн." 1863 г., № 1-й, стр. 285—295; Князь Серебряный. Повѣсть временъ Іоанна Грознаго, гр. А. К. Толстого (разборы книгъ, безъ подписи), стр. 295—306.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 375—402.

— Свистокъ: Цензоръ въ попыхахъ (лесть въ видѣ грубости), *Михаила Зміева-Младенцева*, стр. 12—19; Письма отца къ сыну, стр. 19—32; Московскія пѣсни объ искушеніяхъ и невинности. Гимнъ публицистовъ. Элегія. *Михаила Зміева-Младенцева*, стр. 32—37; Неблаговонный анекдотъ о г. Юркевичѣ, или исканіе розы безъ шиповъ (безъ подписи), стр. 37—51; Секретное занятіе, комедія въ четырехъ сценахъ (безъ подписи), стр. 51—54; Пѣснь московскаго дервиша, *Михаила Зміева-Младенцева*, стр. 71—72; Сопѣлковцы, стр. 81—82; Заявленіе отъ Свистка, стр. 87—88.

„ Книга 5-я.—Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 219—258.

„ Книга 8-я.—Какъ кому угодно. Разсказы, сцены, размышленія и афоризмы, стр. 567—610.

— Въ деревнѣ (безъ подписи), стр. 173—198.

„ Книга 9-я.—„Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою!" Провинціальный романсъ въ дѣйствіи. *Н. Щедрина.* Стр. 292—311.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 127—148.

Книга 11-я. — Петербургскіе театры. „Горькая судьбина", Писемскаго (разборъ, безъ подписи), стр. 90—106.

— 1863. — Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 139—164.

„ Книга 12-я.—Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 197—242.

— Воля. Два романа изъ быта бѣглыхъ. А. Скавронскаго, стр. 243—252; Полное собраніе сочиненій Г. Гейне. Въ русскомъ переводѣ, изд. подъ редакціей Ѳ. Берга (разборы книгъ, безъ подписи), стр. 252—253.

— 1864. Книга 1-я.—„Здравствуй, милая, хорошая моя!“ Провинціальный романсъ въ дѣйствіи. *Н. Щедрина*. Стр. 41—64.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 17—48.

— Новыя стихотворенія А. Плещеева, стр. 79—82; Наши безобразники, сцены Н. Потѣхина, стр. 82—83; Сказки Марко Вовчка, стр. 83—85 (разборы книгъ, безъ подписи).

„ Книга 2-я.—Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 17—48.

— Новыя стихотворенія А. Н. Майкова, стр. 260—271; Воздушное путешествіе черезъ Африку, Юлія Верна, переводъ съ франц., изданіе Алексѣя Головачева, стр. 289—290 (разборы книгъ, безъ подписи).

„ Книга 3-я.—„На зарѣ ты ее не буди“. Романсъ. *Н. Щедрина*. Стр. 189—224.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 27—62.

„ Книга 4-я.—Записки и письма М. С. Щепкина и проч., стр. 255—258; Моя судьба, М. Камской, стр. 258—261; Разсказы изъ записокъ стараго письмоводителя, Александра Высоты, стр. 261; Сборникъ изъ исторіи старообрядства, изд. Н. И. Попова, стр. 266—267 (разборы книгъ, безъ подписи).

„ Книга 5-я.—Литературныя мелочи (безъ подписи), стр. 1—26.

— Чужая вина, комедія Ѳ. Устрялова (разборъ, безъ подписи), стр. 57—59.

„ Книга 8-я.—„Она еще едва умѣетъ лепетать“. *Н. Щедрина*. Стр. 343—368.

— 1864. — Ролла, поэма Мюссе (разборъ, безъ подписи), стр. 201—207.

» Книга 10-я.—Въ своемъ краю. Романъ К. Н. Леонтьева, стр. 177—183 (разборъ, безъ подписи).

» Книга 12-я. — Письмо въ редакцію, М. Салтыкова, стр. 176.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТРАН.
— Идеализмъ Салтыкова. Историко-литературное воспоминаніе	1—16
— Журнальная дѣятельность, 1863—1864 г. . .	17—234
— Списокъ статей Салтыкова въ „Современникѣ“ 1863—1864.	235—238

С-561
Нз № 596

P 2134.
919

Цѣна 1 р. 50 к.

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ М. М. Стасюлевича.
Спб., Вас. Остр., 5 л., 28.

Stanford University Libraries
3 6105 124 447 892

PG
3361
A3Z86

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

FEB 17 '68

A600
H3 C166n